

№ 25

Июнь 2003 Г.

УХТА
ЛИТЕРАТУРНАЯ

Тамара Новикова



РАССКАЗЫ

КОЛОНКА ПИСАТЕЛЯ

Реализм иногда нужен в лошадиных дозах.

Чтобы лучше адаптироваться в жизни и не выражать искренне утверждение подобному следующему, прозвучавшему на всю страну в 80-х годах: “У нас в стране секса нет”.

Можно легко заметить, что нынешние писатели это осознают, и сейчас прозу пишут более откровенно, без оглядки, прямым способом, открытым текстом, ничего не микшируют (В.Сорокин и многие др.). Новому поколению не надо играть в литературу, как написаны многие книги в советское время. Положительно тут одно: меньше становится пуритан, ханжей и снобов.

Традиции должны сохраняться, продолжаться, но литература сегодня уже не та, которую мы учили в школе. Жизнь идет в литературу во всех деталях и нюансах. Независимо от темы и чьего-то желания.

Чувство протеста было у всех поколений. Но у настоящего есть что-то от шока. Но это не “чернуха”. Просто писатели, читатели, конкретно проза стали столь же бескомпромиссны, как автомат АКа. Проза стала более жесткая, чем ранее было принято. Принято. Это слово довлело, как следствие угрюмого соцреализма, спущенного народу сверху. Этим словом всё было сказано, застолблено и задекларировано.

Мы ничего не знаем о поэте под именем Ион Деген. Вот его стихи, написанные в 1943-44 годах.

Мой товарищ

в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони,

ты не маленький.

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму

с тебя валенки.

Нам еще наступать предстоит.

Не за эти ли смелые строчки он заплатил своей жизнью?

20-й век дал не один пример непримиримости к писателям. Возможно, 21-й будет более нормальным, сговорчивым, уступчивым, покажет пример согласия и незлобивости.

И еще к вопросу о натуралистичности – тянут ли на откровения рассказы Тамары Новиковой? Я думаю, читатель выскажется утвердительно.



Редактор журнала “Ухта литературная”

Алексей Мильков

**Тамара НОВИКОВА****РАССКАЗЫ**

СИНИЙ ЛЕБЕДЬ

Стоило только Митьке закрыть глаза, как он сразу видел их. Всю троицу сразу. Огромный членистоногий рак, выпучив пустые глаза, медленно, но упрямо тянулся вправо. Жилистая пятнистая щука, разинув зубастую пасть, настойчиво волоклась влево.

А прекрасный лебедь, широко распластав гибкие крылья, все пытается взлететь в небо. Мучительно изогнулась его гордая шея, стянутая ремнем упряжки, которую он вынужден тащить в таком соседстве...

Вот этого-то Митька никак не может понять. Лебедь – и в хомуте. Лебедь – и в упряжке. Разве такое может быть? Ведь лебедь – это... Ведь это Лебедь!

Но задание есть задание, и его надо выполнять. Правда, это задание дано не Митьке, а ребятам из класса художественной школы, куда Митьку не приняли. Но он стоял за дверью и все слышал. Ученикам было предложено подумать над композицией “Лебедь, Рак и Щука” и выписать отдельно каждого из персонажей. Митька сбежал домой, отыскал потрепанный томик Крылова и нашел нужную иллюстрацию. Долго рассматривал ее и размышлял.

Митьке всегда нравилось думать. Не над задачами по математике, нет, это совсем другое думанье, и его, Митьку, оно не особенно прельщало. Ему нравилось думать о том, что происходит вокруг, о словах и поступках людей. И особенно о рисунках.

Рисовать Митька начал рано – с четырех лет. Вот думает-думает о чем-нибудь, а потом эти мысли выходят из него как бы сами по себе.

Однажды, еще в детском саду, девочка Надя упала с качелей, разбила себе коленку, но даже не заплакала. Послунявила ссадину, подула на нее, морщась от боли, и хотела уже бежать куда-то по своим делам. Но подошла воспитательница Роза Марьяновна и так раскричалась на Надю, что сбежались дети со всех участков палисадника.

– Вот носитесь, как угорелые! – кричала Роза Марьяновна. – Под ноги себе не смотрите, а нам потом за вас отвечай! Ну, чего ты на качели полезла без спросу, спрашивается? А вечером мамаша твоя мне истерику закатит: “Ах, не уследили за моей Наденькой драгоценной!” А Наденьке на все наплевать! Наденьке лишь бы напакостить!

И Надя, до сих пор не проронившая ни слезинки от боли в разбитой коленке, вдруг уткнулась лицом в ладошки и заревела в голос. Роза Марьяновна схватила ее за руку и уволокла в группу, продолжая кричать и ругаться:

...А теперь она еще и ревет, полюбуйтесь на нее! Она потерпеть не может, мимоза какая! Сначала не плакала, а теперь нюни распустила – пожалейте ее, бедную. Пусть вас дома жалеют. Нас, небось, никто не пожалеет, за бесплатно с вами мучаемся...

Митька тогда хотел сказать Розе Марьяновне, что Надя заревела вовсе не потому, что ей было больно, а совсем по другой причине. А по какой – он не смог бы объяснить, не получалось у него со словами. Но во время “тихого часа”, когда все дети



спали, он встал, достал со стеллажа альбом, карандаши и стал быстро рисовать.

...На уютной полянке – цветы. Их много, и у всех детские лица. В центре расположилась огромная кроваво-красная роза, вся усыпанная острыми страшными шипами. Одним длинным шипом она проткнула маленькую белоголовую ромашку, и та безжизненно поникла. Из голубых глаз ромашки тихо капали слезы. А остальные цветы – колокольчики, незабудки, маки, васильки – испуганно съежились под своими листьями, стараясь спрятаться под ними...

Вот так рисунками Митька мыслил, рисунками спрашивал, рисунками отвечал. Такой уж из него получился человек.

I

Про него все знакомые говорили, что он “странный”. Митька долго не понимал, что это означает. Однажды соседка по квартире тетя Вера, накричала на него за то, что он разрисовал разными зверюшками все шкафчики на общей кухне. На шкафу дяди Вити, пьянчужки-грузчика, появился заяц во хмелю – косой, с надломленными ушами, с идиотской ухмылкой во весь рот, развеселый и добродушный. А шкафчик всегда улыбчивой тети Марины, медсестры поликлиники, украсила оранжевая кошечка в белом халатике и со шприцем в лапке.

Ну, а на громадном буфете тети Веры, работающей вахтером в студенческом общежитии, появился горбатый верблюд. Приподнятая толстая верхняя губа его обнажала редкие широкие зубы, сквозь которые во все стороны летели плевки.

Дядя Витя и тетя Марина смеялись, рассматривая рисунки на своей мебели, а тетя Вера, ножом соскабливая верблюда, ругалась:

– Ишь ты, философ сопливый! Отлупить бы тебя, да некому. Mamочка твоя, тихоня, рта никогда не раскроет, все “Митенька” да “Митенька”. А Митенька в придурка вырос, малахольного. Ишь, испортил, паршивец, чужую собственность. В суд бы на вас, да что с голоштаных-то взять? Отец родной и то от вас сбежал, терпения не стало... Ишь, верблюд... И почему именно верблюд? Я что, горбатая какая, что ли?

– А верблюды ведь плюются, мать! – как-то торжествующе захохотал дядя Витя, пребывающий, как всегда в это время дня, в легком подпитии. – Как ты. Ей-бо, прицельно подметил пацан! Прямотаки верную провел, шкет, параллель. И со мной в точку попал. И Мариночку нашу изобразил с художественной достоверностью – кисонька и есть. А себя с мамашей вишь как означил: дельфины... Молчуны они, но занятные, добрые ко всем.

И действительно, по всей стенке кухонного шкафа, принадлежащего семье Родионовых, неспешно и вольно плыли в синих водах два дельфина – мама и сын. И в сторону, в глубину тусклой тенью уходил от них кашалот, весь какой-то унылый и одинокий...

II

Это был он, Митькин отец. Это о нем думал Митька, когда рисовал на шкафчике дельфинов – себя и маму.

Отец ушел от них, когда Митька готовился стать первоклассником. “Полюбил другую” – такие разговоры доходили до Митькиных ушей, но он не хотел про это думать и старался переключить свои мысли на другие всякий раз, когда вспоминался отец. Но когда все же эти назойливые мысли донимали его, он хватал альбом, краски и рисовал, рисовал... На этих рисунках они с мамой уплывали по синему морю на белом пароходе, а огромная белокрылая чайка с папиными глазами одиноко летела за пароходом и все никак не могла его догнать. Или на полянке застывали олениха с олененком, глядя вслед красавцу оленю, уходившему от них туда, на край леса, где затаилась и поджидала его молоденькая важенка...

И всякий раз Митька почему-то прятал эти свои рисунки, чтобы они не попадались маме на глаза. А почему – и сам не знал.

Мама работала библиотекарем в школьной библиотеке и получала маленькую зарплату. Им с Митькой приходилось туговато, денег постоянно не хватало. Но мама как-то так ухитрялась, что карандаши, фломастеры, краски и альбомы у Митьки были всегда.

После развода с папой мама не стала обменивать папину квартиру, а ушла в свою старую “коммуналку”, где жила раньше. “Нам не надо чужого”, – сказала она, и Митька с ней согласился.

Но папа не был чужим, и первое время Митька очень скучал без него. Потом привык. И им совсем неплохо было вдвоем с мамой. До тех пор, пока в жизни Митьки не стали происходить странные и непонятные вещи.

III

А все началось, когда однажды к ним домой пришли агитаторы – голосовать на выборах за какого-то Явлинского. Митьке было уже девять лет, но в политике он еще плохо разбирался. Честно говоря, он не испытывал к ней никакого интереса. Поэтому, пока мама разговаривала с агитаторами, Митька продолжал заниматься своим делом –



рисовал. Толстый, румяный, как яблоко, мужчина случайно заглянул через его плечо и присвистнул:

– Ого! Ты все это сам нарисовал?

– Конечно, – снисходительно улыбнулся Митька. Чудной какой-то дядька, видит же, что рисует именно он, Митька, чего же спрашивать? Тот быстро стал перебирать другие рисунки, разбросанные по столу.

– Ничего себе... – бормотал агитатор, – ну ты, брат, даешь! Тебе сколько лет?

– Девять, – слегка обеспокоено ответил Митька: интересно, чем это агитатору не понравились его рисунки?

Но оказалось наоборот.

– Взгляните только, Нина Егоровна! – толстый дядька азартно вытер платком вспотевшее лицо. – Нет, вы только посмотрите, как талантливо! Он у вас учится в художественной школе? – повернулся агитатор к маме.

Та покачала головой.

– Нет, Митя не учится в художественной школе. У нас нет такой возможности.

Когда агитаторы, все еще охая и ахая, ушли, Митька помолчал немного и тихо спросил:

– Мам, а что это за художественная школа такая?

IV

Она стояла, утопая в зелени, в тихом скверике. Четырехэтажное аккуратное здание, в стенах которого дети учатся рисовать. Не все, конечно, но особенно талантливые.

Митька стоял под окнами художественной школы, переминался с ноги на ногу и вспоминал, как мама, сходяв туда, сказала ему с грустной улыбкой:

– Ничего не получится, сынок. За обучение в этой школе нужно платить такие деньги, которых у нас нет. Придется подождать. Вот вырастешь большим, поступишь в художественное училище...

Но Митька не мог ждать, пока он вырастет большим. После разговора с агитаторами прошло уже два месяца, а он только и думал, что об этой школе. Он хотел научиться рисовать по-настоящему. Ведь учится же он в своей 18-й школе в четвертом классе, и не платит за это деньги. Просто надо пойти к директору этой художественной школы и все объяснить. Рисунки показать. Поговорить.

И девятилетний Митька Родионов, потоптавшись в нерешительности, отправился к директору.

Тот оказался совсем не страшным, как почему-то думалось Митьке. Он был молодым, сероглазым

и загорелым. И у него оказалось очень хорошее имя: Никита. Никита Маркович.

Директор добродушно выслушал сбивчивое Митькино бормотание и раскрыл папку с его рисунками. Рассматривал их он долго и внимательно, а потом поднял голову и посмотрел прямо в черные, почти без зрачков, Митькины глаза.

– Что ж, молодой человек, – сказал Никита Маркович, – очень даже недурно. Я бы сказал – просто очень хорошо. Это вы сами писали?

– Я не писал, – почему-то басом ответил смущенный Митька, – я рисовал...

Молодой директор рассмеялся, и они с Митькой стали разговаривать.

А потом Митька пришел сдавать экзамены. Рисовал он с полным старанием, но у него всегда хуже получалось, если сюжет не рождался сам по себе, из головы, а предлагался. К тому же рисовать всякие там чайники, кувшины и человеческие головы было довольно скучно, хоть Митька и старался. Он рисовал и сдавал, рисовал и сдавал, а набрал всего только десять баллов, хотя нужно было “набрать” двенадцать.

Митька так и не понял, почему его не приняли, и пошел к Никите Марковичу. Тот казался сконфуженным и виноватым, долго втолковывал Митьке, что тому не хватило двух положенных баллов и что теперь для него, Митьки, нет свободного места в школе. Но Митька, хоть ему и нравился молодой директор, не поверил, что в такой большой школе не нашлось ни одного свободного местечка. И он решил прийти сюда первого сентября: вдруг к тому времени отыщется хоть одно место?

Первого сентября Митька пришел в школу, отыскал свою группу и увидел там рыжеволосого Гошу, с которым познакомился во время экзаменов. Они потом стали “друзьями по несчастью” – у Гоши тоже не хватило двух баллов. Но для Гоши место нашлось, его приняли в класс. Гоша объяснил это тем, что у него папа – сам художник, поэтому сына художника приняли. Митька насутился и сказал, что это несправедливо: разве школа называется художественной только потому, что в ней должны учиться дети художников?

И Митька снова отправился к директору. Тот слушал его уже без привычной своей улыбки, не шутил и не балагурил.

– Ну, хорошо, Митя, – сказал он наконец, – я поговорю с нашими преподавателями. Ты будешь показывать им свои работы, а они станут их проверять и править. На будущий год ты обязательно поступишь.

И Митька вышел от него успокоенным. Что ж, на этот раз места для него не нашлось, но зато его



будут учить рисовать. Ему ведь только это и нужно было: чтобы учили.

В своей 18-й школе Митьку подняли на смех, когда узнали, что его не приняли в “художку”. И не ребята, нет, а учителя.

– Интересно, на что ты рассчитывал, Родионов? – осведомилась пожилая Таисия Григорьевна, – по математике у тебя одни тройки, на других предметах ты тоже вечно ворон считаешь. И при всем при этом ты возомнил себя Суриковым? Васнецовым? Для таких ли детей художественная школа? Рисуешь ты и так неплохо, но ведь прежде нужно хотя бы школьные знания получить. А здесь у тебя, извини, полный ноль...

Почему “ноль”? – хмуро переспросил Митька, – по математике и русскому у меня – три, но по труду, природе и музыке – четыре. А по рисованию – пять...

– Ничего-то ты не понял, Родионов, – поморщилась Таисия Григорьевна, – это с общим развитием у тебя ноль. И вообще ты какой-то замороженный. Не хватает тебе интеллекта.

Митька не знал, какого такого интеллекта ему не хватает, но почувствовал, что его считают кем-то вроде дурака.

– Будет и интеллект, – сердито буркнул он, – а вот вы, Таисия Григорьевна, наверное, плохо зубы чистите, они у вас всегда желтые...

V

Перед самым Новым годом Митька решил организовать в школе выставку своих работ. Настоящую выставку – в актовом зале, с входными билетами, с экскурсоводом. Он вежливо постучался в кабинет директора, Ольги Алексеевны, вошел и положил перед ней на стол большой лист ватмана.

– Что это? – недовольно спросила Ольга Алексеевна, поправляя большие красивые очки.

– Объявление, – просто ответил Митька, – о том, что я открываю выставку. Пусть все ребята посмотрят. И родители тоже. Ведь праздник. А у меня рисунков много, я отобрал их по теме – лес, каток, лыжня, зимний город, Новый год. Много всего. А экскурсоводом будет Таня Ивашова.

– Каким экскурсоводом? – все еще ничего не понимала Ольга Алексеевна и устало потерла виски длинными худыми пальцами, похожими на сухие палочки.

– Ну, это ведь будет настоящая выставка, – терпеливо объяснял Митька, – а там обязательно должен быть экскурсовод. Таня – толковая девчонка, вы не думайте, она долго готовилась, изучала все мои рисунки и теперь почти без запинки может все рассказать. И входные билеты нужны, так полагается. Я их уже приготовил, сто штук сделал,

как вы думаете – хватит? А цена их будет небольшой: один билет – десять рублей.

– Та-а-к... – протянула Ольга Алексеевна, и бледное лицо ее расцвело какими-то лиловыми пятнами. Она взглянула на Митьку и будто проткнула его прокурорским взглядом. – Отлично придумано, Родионов. Коммерсантом, значит, решил заделаться? Торговлю открываешь в нашей школе? Бизнес? И что приобретешь на эти деньги, а, Пикассо?

– Я ничего не приобрету, – простодушно ответил Митька, – во-первых, всякий художник открывает свои выставки, чтобы люди смотрели. А во-вторых, деньги мне действительно нужны, чтобы заплатить за художественную школу. У мамы маленькая зарплата.

Ольга Алексеевна встала и с отвращением посмотрела на маленького серьезного пятиклассника.

– Выйди вон, Родионов, – отчеканила она, – и никогда, слышишь? – никогда не смей больше приходить ко мне с таким гнусным предложением.

– Почему? – опешил Митька, – почему это оно гнусное?

Он смешался на миг и тихо уточнил:

– Ведь “гнусное” – это плохое? А разве выставка в школе – это плохо?

– Уходи, Родионов, – еле сдерживая свое негодование, Ольга Алексеевна стала перебирать бумаги на столе.

Митька вышел и тихо закрыл за собой дверь.

VI

Так прошла зима, откапелилась весна, прокатилось зеленым колесом короткое северное лето. И снова пришли экзамены.

...И опять Митьку не приняли в художественную школу. Не поднимая глаз, Никита Маркович вертел в руках карандаш и говорил Митьке, что экзамен есть экзамен, приемная комиссия есть приемная комиссия, и ничего тут не попишешь.

– А моя учительница Ирина Аркадьевна сказала, что если бы все ее оболтусы рисовали так, как я, – произнес Митька, глядя в окно, – если бы все они так же видели мир... искали бы смысл... это не я сказал, а она, это ее слова...

Он почему-то задохнулся, постоял молча и вышел. Но с тех пор внутри у него что-то произошло.

Первого сентября он снова пришел в школу. Отыскал свой класс, вошел, сел, разложил все на столе, а когда молоденькая учительница удивленно сказала ему, что у нее в списках нет Родионова, так же молча встал и вышел за дверь. И весь урок



простоял под дверью, внимательно слушая все объяснения учительницы.

– Ты что, чокнутый? – спросил его на перемене пухлощекий парень, чавкая жвачкой, – раз не приняли – топай домой. Все равно ведь учить не будут, раз экзамены не сдал и деньги не заплачены.

– Будут, – коротко ответил Митька.

И он стал ходить в “художку” каждый день. А в ту свою, 18-ю, ходить перестал. Даже мама не знала этого. Митька и сам до конца еще не понял, что из всего этого выйдет, но его будто замкнуло.

Стоя за дверью, он жадно вслушивался во все, что там, в классе, происходило, а потом расспрашивал у ребят, что задано на дом. Так он узнал о композиции “Лебедь, Рак и Щука”. Он стал думать об этой композиции, но мешали другие мысли. Например, о том, что вчера учительница сказала ребятам, что как только он, Митька, снова придет, чтобы они сразу бежали за завучем. “Он ставит меня в неловкое положение, этот Родионов. Неужели он не может понять простых вещей? Пусть с ним разбирается завуч”.

И завуч – пожилой одышливый человек – разобрался. За ним сбегала кудрявая длинноногая девочка, и тот пришел в класс. Митька, удерживая какой-то тугой комок в горле, намертво вцепился в стол. Завуч, задыхаясь, говорил ему какие-то сердитые слова, но Митька молчал, всё ниже опуская черноволосую свою голову. Окончательно рассердившись, завуч с силой оторвал Митькины руки от стола, выволок его из класса и потащил через весь вестибюль к входным дверям. Кудрявая девочка догнала их с Митькиной сумкой. Митьку вытолкали на улицу, следом полетела его сумка, и завуч крикнул дежурному: “Не пускать больше этого деятеля! Никогда!”

Потом завуч отправился к директору, плюхнулся в кресло и стал жаловаться на малолетних “дебилов”, не желающих понимать элементарных истин.

Никита Маркович хмуро слушал его и вдруг вспылал:

– Да пропади оно все пропадом! – крикнул он, – у нас этих “дебилов” – больше половины школы! А у этого пацана такие способности... дай Бог каждому! И, главное, такое желание учиться! Но что я могу?! Школа престижная, папаши и мамыши из кожи вон лезут, чтобы свое чадо сюда затолкать. Мы-то с вами заранее знали, что Родионов к нам не попадет, нет у него такого папаши или там мамыши, чтобы это “устроить”. Но он-то этого не знал! Он верил себе и нам. Ну кто, кто будет за него платить?

Я? Вы? Папа римский? Вот, черт, жизнь собачья! Нет, я должен его принять. Принял ведь четырех человек сверх положенного, приму и пятого. Подниму вопрос на уровне города, пусть решают с оплатой!

VII

– А Митька ничего этого не знал. Уйдя в глубь школьного двора, он сел на землю, усыпанную влажной листвой. И только тут заплакал.

Он не плакал, когда из дома уходил отец. Не плакал, когда в первый раз узнал, что его не приняли в школу. Не плакал, когда его ругали и стыдили в той, 18-й школе. Не плакал, когда ему отказали в проведении выставки. Не плакал, когда его выгоняли в коридор из класса, но разрешали слушать у дверей.

А сейчас все эти невыплаканные слезы будто сговорились, собрались все вместе и вырвались наружу.

Митька поднялся, обошел здание школы с другой стороны, увидел разбитые кирпичные ступеньки, ведущие на крышу, и стал подниматься наверх. Он не знал, зачем это делает и куда идет. Просто медленно, как старый и больной человек, поднимался все выше и выше. Так он достиг крыши и без всякого страха пошел по ней. Увидел деревянную лестницу, стоявшую торчком к трубе и полез еще выше.

Заморосил, а потом и зашелестел осенний дождь. И серое разбухшее небо стало совсем близким. Протяни руку – и она окупнется в густое, как кисель, рыхлое облако...

Митька поднял голову и взглянул в это близкое небо. И сквозь морозящую пелену увидел в небе того самого лебедя, о котором так много думал в последнее время. Митька уже не плакал, а с неммым восторгом следил за свободным полетом синего от облачного отсвета лебедя. Медленно и плавно двигались широкие крылья. Гордо и торжествующе вытянулась лебедина шея, освободившаяся от ненавистной упряжки. Лебедь был свободен и улетал. Улетал туда, в светлые дали, где никто и никогда не будет больше впрягать его в одну упряжь с раком, щукой и им подобным.

– Возьми меня с собой... – вдруг прошептал Митька и даже привстал на цыпочки. И, напрягшись всем телом до предела, отчаянно, изо всех сил крикнул:

– Возьми меня с собой! Не оставляй тут!..



КУСАКА

Глава 1

Ольга Догаева во все глаза рассматривала полузабытую живописную местность, расстилавшуюся за окном экипажа. Всякий раз, когда приходило узнавание какого-то куста жимолости или раскидистой ольхи, она по-детски хлопала в ладоши и, смеясь, кричала мужу:

– Ой, Андрюша, и это место я помню! В-о-о-н там мы с Петром прятались от старой чопорной гувернантки, Анны Зосимовны, ужасно скучной особы. А малинник-то... Батюшки, как он разросся! По утрам мы с Машенькой бегали туда с кружками и приносили к завтраку пушистой, прохладной и невероятно сладкой малины...

Молодой, но очень важный господин с пепельной волнистой бородкой, умными, всегда слегка насмешливыми глазами под стеклами пенсне, в дорогом сюртуке, смотрел на свою жену с доброй, чуть снисходительной улыбкой. Одной рукой он бережно придерживал плечики привалившейся к нему четырехлетней дочери Наденьки, которая крепко спала, утомленная дорогой.

Андрей смотрел в порозовевшее лицо жены, слушал ее оживленное щебетанье, и думал о том, как все же хорошо, что он смог выкроить время и лично отвезти своих обожаемых дам на старую дачу, где им предстояло провести все лето. Он не сразу уступил странному капризу Ольги провести лето именно здесь, в этой запущенной и бедной деревне. Но она так мило упрашивала и так забавно сердилась, что отказать ей было решительно невозможно. Андрей еще в марте отправил в мужиков и баб в эту, забытую Богом, Лукьяновку, чтобы те привели в порядок дачу, двор, огород, но перед самым отъездом все же спросил с тайной надеждой: не передумала ли она ехать?

– Ах, нет-нет, что ты, Андрюша! Как это я могу передумать? Ты даже не представляешь, как там, в Лукьяновке, было чудесно! Шесть лет назад я была счастлива там. Все эти годы я вспоминала нашу дачу, меня так тянуло туда почему-то... будто я там что-то забыла или потеряла. Или будто меня здесь что-то ждет... не знаю, право. Может, это моя юность зовет меня обратно?

Хм, юность... Да она и сейчас, в свои двадцать три года, юна и свежа, как цветок, легка и шаловлива, словно бабочка – одно удовольствие смотреть на нее. Правда, ее уже перестали звать Лелей, теперь она – как-никак, замужняя дама, а ее

супруг, Андрей Георгиевич Догморов, сын самого советника Догморова, дворянина, потомка славного и древнего рода. Теперь Андрей Георгиевич сам статский советник, получил образование в Англии и служит в Петербургской Думе. И, пожалуй, только он еще зовет иногда свою жену Лелей, да и то, когда они одни и полны нежных чувств. А все остальные просто обязаны обращаться к его супруге почтительно – Ольга Васильевна.

Экипаж остановился у широкой дубовой калитки, свежеевыкрашенной в веселенький зеленый цвет. От уютного бело-голубого домика под красной черепицей по дорожке, посыпанной чистым песочком, уже бежали мамки-няньки, низко кланяясь на бегу и причитая:

– Заждались, заждались вас, батюшка Андрей Георгиевич, и матушка Ольга Васильевна! Со приездом вас, слава те Господи!

Старая нянька, вырастившая Ольгу с пеленок, бережно приняла на руки спящую Наденьку и понесла драгоценную ношу в дом. Остальные, галдя, стали выгружать из экипажа хозяйские баулы, коробки, ящики.

Ольга оглянулась вокруг, глубоко вздохнула. Тот самый воздух! Гибко потянулась всем телом, сорвала с головы шелковую сиреневую шляпку и подбросила ее высоко вверх.

– Фу-у, Ольга Васильевна, как это неприлично! При слугах-то... – мягко укорил жену Андрей, но глаза его смеялись от удовольствия, что жена так счастлива.

– Ах, Боже мой, Андрюша! Как же хорошо, как славно! Душа моя, благодарю, благодарю тебя за то, что ты подарил мне все это! Теперь ты можешь смело ехать в свою Англию по всяким своим скучным делам. Мы с Наденькой будем совершенно счастливы здесь.

– Совершенно? – нарочито обиделся Андрей, подбирая с травы шляпку жены. – Значит, вы будете счастливы без меня целых три месяца?

– Как – три? – встрепелась Ольга. – Разве ты уезжаешь не на месяц, а на три месяца? Но ты же говорил, что закончишь свои дела, приедешь сюда в Лукьяновку и пробудешь с нами до сентября! Отвечайте немедленно, Андрей Георгиевич!

– Ага! – удовлетворенно усмехнулся молодой супруг. – Стало быть, я вам все-таки нужен? Ну, то-то же, сударыня! Однако, не беспокойтесь напрасно. Думаю, что смогу вернуться пораньше и вкусить



все прелести деревенской жизни, которые так манят вас.

Пока Наденька спала, муж отдыхал в гамаке на солнышке в ожидании обеда, а няньки разбирали хозяйские вещи, Ольга тихонько удрала и с замиранием сердца облазила памятные местечки близ озера. Конечно, за шесть лет здесь многое изменилось, ведь и природа повзрослела на эти же годы. Деревья и кустарники разрослись, овраг с северной стороны будто бы обмельчал и сохся, а маленькое, круглое, как блюдце, озерко кое-где поросло ряской.

Но это было оно, прежнее милое местечко из ее юности. Здесь она бегала и радовалась жизни семнадцатилетней гимназисткой. Тем летом она как раз закончила гимназию, а в Рождество была сосватана и выдана замуж за умного красивого и благородного Андрея Догаева, кого полюбила пылко и нежно. А через год стала и мамой, произведя на свет самое очаровательное в мире существо – дочку Наденьку.

– Ольга Васи-и-и-льна! Обе-е-е-дать! – голосисто звала няня Степанида.

– Иду-у-у! – певуче отозвалась Ольга и поспешила к дому, на ходу отряхивая платье.

Глава 2

Андрей пробыл в Лукьяновке два дня и уехал в Петербург. Ему надо было собираться в Англию. Твердо пообещав жене вернуться через два месяца, он тепло простился с нею и дочкой, и те остались одни на попечении преданных и заботливых слуг.

На другой же день Ольга надела на себя простенькое ситцевое платье и босиком, без шляпы, отправилась гулять по окрестностям, стойко выдержав причитания няни:

– Это же ужась какая-то – простоволосая, босиком! Разве вы девка сельская? Виданное ли дело? Оденьтесь, как полагается, и гуляйте себе прилично...

Не слушая жалобных восклицаний Степаниды, Ольга сложила в корзинку черного пахучего хлеба, сыру, зеленого луку и бутыль молока, строго-настроено велела не спускать с Наденьки глаз и захлопнула за собой калитку. Тропинкой спустилась к берегу мелкой и звонкой речушки и зашагала к зеленоющему рядом лесочку.

К полудню, вдоволь насытив и душу, и грудь, и глаза, и уши, исцарапав руки и ноги, усталая, но довольная Ольга присела на веселой лужайке, пестреющей первыми лютиками и одуванчиками, достала из корзинки хлеб, сыр и лук и стала жадно есть, прихлебывая из бутылки теплое, свежее молоко. Она чувствовала себя девчонкой, сбежавшей из дома, и энергично жевала,

поглядывая вокруг себя живыми, любопытными глазами.

Вдруг сбоку, в кустах шиповника что-то мелькнуло, хрустнули ветки, и Ольга увидела тощую старую уродливую собаку.

– Брысь, псина! – сказала Ольга. – Фу-у, какая ты безобразная! Давай-давай, пошла отсюда!

Но собака стояла неподвижно и молча смотрела на Ольгу. С худых ее боков ключьями свисала шерсть, воспаленные глаза смотрели без всякого выражения.

Что-то в облике этой бродяги показалось Ольге смутно знакомым, и она пристальнее всмотрелась в нее. Машинально отломив от краюхи кусок хлеба, она бросила его собаке. Та шарахнулась прочь и снова остановилась, вытянув шею и нюхая его издали. Потом собака села, не сводя глаз с хлеба.

Эта поза, эти стоящие торчком уши, отливающие чем-то ржаво-серым... Эта доверчиво простодушная морда, не умеющая улыбаться...

– Господи Боже мой... – с трудом проглотив сыр, который жевала, проговорила Ольга, не сводя с собаки потрясенных глаз – Кусака? Это ты, Кусака?..

Откуда-то из глубин памяти вдруг выплыло это забытое напрочь имя, и Ольга почти выкрикнула его, отчего собака ошетижилась, тяжело ломанулась в кусты и исчезла из вида.

Бросив в траву корзинку, Ольга кинулась за собакой, звала ее, кричала, но та как сквозь землю провалилась.

Подобрав с земли корзинку, Ольга медленно направилась домой, поминутно оглядываясь. Она шла и вспоминала, как тем самым летом к ним на дачу прибилась бродячая собачонка, как та порвала на ней платье, перепугав ее до смерти. И как потом они всей семьей приручили ее, лаская и прикармливая, и какой она потом стала красивой и игривой, как танцевала от своего собачьего счастья, неуклюже прыгая и извиваясь, и как сторожила их дом, и тенью ходила то за ней, Ольгой, то за братом Петей, то за сестрой Машей. И как они играли все вместе.

А потом лето кончилось, и пора было возвращаться в город. Ей, Ольге, было жалко оставлять Кусаку одну на пустой даче. Но мама сказала, что Догаевы уже обещали им хорошего породистого щенка – к чему им какая-то бродячая дворняжка?

И даже сердце защемило, когда Ольга подумала: а ведь она могла бы настоять, уговорить маму взять Кусаку с собой, как всегда уговаривала, когда ей нужно было или новое платье, или красивая шляпка, или дорогие билеты в театр. Мама, в конце концов, всегда уступала ей. Могла бы... Могла бы...



Но Леля не сделала этого. Ей было семнадцать лет, и она была впервые влюблена в Андриюшу Догаева, который учился тогда за границей, и скучала без него, и все ее мысли были о нем, и хотелось поскорее в город, чтобы встретиться с ним, и какое ей было дело до какой-то там дворняги?

И они уехали, бросив ту, которую приручили, влюбили в себя. И Леля напрочь забыла о милой и смешной Кусаке. Наверное, после них она стала еще более одинокой и несчастной, чем прежде...

Ночью Ольга долго не могла уснуть. Она вставала с постели, шла на кухню, пила воду, выходила на террасу и долго всматривалась в молочные сумерки. У нее отчего-то горело лицо и стыли пальцы рук, и гулко билось сердце. Что такое с нею происходит, Ольга не знала. Но внутри было тревожно и беспокойно.

“Господи, как я могла? – в сотый раз спрашивала она себя, кутаясь в легкую кисейную шаль. – Ну, пусть мне было всего семнадцать лет, но я ведь была человеком... и всегда считала себя неплохим, чутким, благородным человеком. Как же такой человек мог быть таким бессердечным и равнодушным к животному, имеющему душу? Кстати, есть ли у животных душа? Вряд ли. Господь наградил душой лишь самое любимое из своих творений – человека. И как же тогда мы, люди, можем считать себя людьми после этого? Что сказал бы Андрей, узнав, как я поступила с несчастной собакой?”

Ольге стало совсем нехорошо. Она тихо прошла к постели дочери, присела на краешек, всматриваясь в спящее личико девочки, в ее льняные кудряшки, рассыпанные по подушке. Что подумала бы дочка, узнав, что мама, поучая ее быть доброй и сострадательной ко всем букашкам, зайчикам и белочкам, сама была вовсе не добрая и не сострадательная, а равнодушная и неблагодарная.

“Господи, Господи... – в смятении думала Ольга, – как же это, а? Отчего мне так тревожно? Да, может, это вовсе и не Кусака. Ведь уже шесть лет прошло. Она, наверное, уже давно убежала куда-то, и нашла себе новых хозяев. Что я выдумываю себе? Зачем?”

Глава 3

А в это время грязная, голодная и одичавшая собака лежала на дне оврага, положив морду на вытянутые худые лапы. Ей не спалось. Она то вставала, то снова ложилась, то беспокойно кружилась на одном месте, тихо поскуливая. Она не знала, что ее тревожило, но перед глазами все время вставала фигура девушки, ее лицо, ее руки,

бросившие собаке хлеб. И голос... Голос, вдруг полоснувший собаку по самому сердцу. Откуда ей знаком этот голос? И это слово – Кусака... Было в нем что-то такое далекое, но теплое, сладкое, о чем собака уже давным-давно запретила себе думать.

Уже давно прошло то время, когда собака ненавидела всех людей в мире. Когда она поняла, что все они, даже лучшие из них, исполнены зла, и совсем не умеют любить. Когда она и сама узнала, что никогда никого нельзя любить, потому что любовь – самая страшная боль в жизни. Когда узнала, что от удара ногой в бок – болит тело, а от удара в душу – болит все...

Однажды собака осмелилась полюбить людей, и едва не умерла от горя, когда те предали ее, бросив одну. Она была готова всю свою собачью жизнь жить у них под забором, мокнуть под дождем и мерзнуть под снегом – лишь бы они были рядом, и она могла бы любить их, служить им, быть нужной им. Особенно собака любила одну девушку с вкусным, чистым запахом, звонким голосом и мягкими, ласковыми руками. Собака была вне себя от счастья, что встретила ее в своей одинокой, неприкаянной жизни, и была готова умереть за эту девушку. А уж если жить, то только рядом с нею – больше собаке ничего не нужно было.

Но собаку все бросили, и та девушка тоже. Чудом выжив тогда, собака смирилась и стала жить пустой, бесцельной, полувольчей жизнью. Но уйти далеко от дачи, где она была когда-то так счастлива, собака так и не смогла. Кружила поблизости.

За эти годы из ее памяти стерлись лица, запахи, голоса, но эта сегодняшняя встреча с молодой женщиной чем-то встревожила старую собаку, и теперь она беспокойно вертелась с боку на бок, скулила и не могла уснуть. А когда, наконец, забылась тусклым и размытым сном, то перед ее сомкнутыми веками снова и снова замельтешили обрывки неясных картинок, от которых она то нервно вздрагивала, то глухо рычала сквозь пожелтевшие зубы, то протяжно, по-старушечьи вздыхала и нежно повизгивала.

Вот она снова и снова убегает, поджав хвост, от ватаги деревенской ребятни, швыряющей ей вслед камнями. Вот увертывается от тяжелого мужского сапога, норовившего пинком отогнать ее от дверей сельского кабака, куда привели ее вкусные, сытные запахи. Вот она, одиноко сидя на взгорке, опять воеет, подняв лохматую морду к равнодушной луне, оплакивая свою долю. Вот она коченеет от лютого мороза, съежившись под крыльцом пустой дачи, и сквозь заиндевевшие ресницы слепо смотрит на пустой мир вокруг себя...

Собака вновь крупно дергается во сне, и еле слышно стонет. Боль утраты, обиды и потерянной любви горькой памятью врывается в хрупкий собачий сон.



Вот она, молодая и сильная, звонко лая, вприпрыжку бежит за резвыми загорелыми ногами девушки по имени Леля. Та хохочет, увертывается от игривых укусов собаки, на ходу треплет ту за уши, спотыкается, падает в теплую душистую траву, и собака насккивает на нее, и ей удивительно хорошо, так хорошо, что она уже просто задыхается от счастья...

Вот девушка Леля сидит на краешке оврага, задумчиво покусывает травинку и смотрит куда-то вдаль, ничего не видя перед собой. Собаке, тихо сидящей рядом с ней, становится грустно и тревожно: будто Леля в этот миг отдаляется от нее, уходит, и от этого собака остро чувствует подступающее одиночество. Поскуливая, она подползает ближе к своей молодой хозяйке, толкает лбом ее под локоть, просовывает свою голову и прикивает к ней, а та молча и рассеянно поглаживает доверчивую собачью морду...

А вот толстая кухарка в неизменном белом фартуке выносит на крыльцо полную миску вкусных объедков и, утирая этим фартуком широкое румяное лицо, зычно кричит:

– Кусака-а-а! Иди, почавкай скорейча, слышь, Кусака-а-а-а!

Полузабытое имя острым жалом пронзает мозг спящей собаки. Рыкнув сквозь тонкий взвизг, она поперхнулась и вскочила на ноги, ошалело оглядываясь вокруг.

“Кусака!” – звала собаку кухарка из сна.

“Кусака!” – звала сегодня молодая женщина на полянке, пытаясь догнать собаку.

В усталом и забитом собачьем разуме все перемешалось. Она никак не могла понять, кто же это звал ее только что к миске с едой, и кто звал на полянке. И, главное, КОГО это звали?

И почему собаке вдруг показалось, что Кусака – это она и есть?

Глава 4

Утром Ольга спросила у няни, не замечала ли та возле дачи какую-нибудь старую кудлатую собаку?

– Видала, матушка, видала, – охотно согласилась нянька, подавая хозяйке ароматный травяной чай. – В деревне-то собак – пропасть, а мы на отшибе стоим, так они к нам не забегают. Но одна какая-то лахудра, нет-нет, да и мелькнет. Я надьсь воду мыльную из лохани за оградку выплескивала, а она, страхолюдина, из кустов так и выскочила. Видно, водой я прямиком в нее и попала. Обои мы испужались – и друг от друга наутек... А чего, дитятко? Может, словить надо, да и прибить, чтоб не принесла какого лиха? Я могу кликнуть Федора-дворника...

– Нет, покачала Ольга головой, задумчиво прихлебывая чай. – Не надо ее ловить. Наоборот, вели всем нашим, кто ее увидит, чтоб не трогали.

– А чего? – замигала нянька ресницами.

– Я хочу найти ее и привести сюда. Домой. Это моя собака.

– Это как? – опять не поняла старушка.

– Вот так! – Ольга допила чай и подмигнула няньке повеселевшим глазом. – Просто моя собака – и все. И зовут ее – Кусака. Поняла, Степанидушка? Как увидишь где, кричи тихонько и ласково: “Кусака!” Пусть привыкает.

Оставив недоумевающую няньку недоумевать дальше, Ольга легким шагом вышла из кухни. На душе у нее после тревожной, бессонной ночи было удивительно легко и даже почему-то весело. Уже под утро к ней пришло ясное и четкое решение: нужно во что бы то ни стало исправить грех, свершенный шесть лет назад. Для этого надо отыскать собаку, привести домой, отмыть, откормить, вылечить. За лето она отойдет, отъестся, приобретет нормальный собачий вид, и тогда можно будет с чистой совестью поручить ее заботам какой-нибудь хорошей семьи из деревни, заплатив им вперед достаточно денег за уход и корм. Это будет по-божески по отношению к животному, настрадавшемуся от неблагодарного и жестокого рода человеческого. И тем самым она, Ольга, снимет грех и с себя, и с мамы, и с семьи своей, и Бог ей это зачтет. И дочке Наденьке не придется краснеть за свою матушку, что она у нее такая бессердечная...

После обеда, вволю наигравшись с дочуркой и уложив ее спать, Ольга снова отправилась в лесочек. На этот раз она сложила в корзинку вкусное: мяса, колбаски, печенья, конфет.

Дойдя до памятного места, Ольга внимательно осмотрела место, куда вчера упал брошенный ею хлеб. Хлеба нигде не было – значит, собака все же съела его. Конечно, его мог съесть и кто-нибудь другой, но Ольге хотелось думать, что это именно Кусака.

Она побродила между кустарников, спокойно и громко выговаривая: “Кусака! Кусака! Где ты, собачка? Иди сюда. Иди к Леле. Здесь Леля, слышишь? Это Ле-ля, Ле-ля...”

Она долго разговаривала с невидимой собакой, часто и внятно проговаривая свое и ее имя, чтобы та, если слышит, узнавала и привыкала к ним.

Ольга зорко всматривалась в заросли кустарников, но все-равно вздрогнула и отпрянула на миг, когда чуть ли не нос к носу столкнулась с собакой, высунувшей морду из-под ветки молодой осины.

– Вот ты где, маленькая, – дрожащим голосом проговорила Ольга, не сводя с нее глаз и медленно опуская руку в корзинку. – Пришла все же, умница.



Это я, Леля. Слышишь, Кусаченька? Ты узнаешь меня? А я вот тебя узнала, хоть ты очень изменилась. Бедненькая моя. Страшилище мое. Как тебе, наверное, трудно пришлось... Но теперь все позади, Кусака, теперь я здесь, с тобой. Я вернулась к тебе. Вот, я принесла тебе мяса... чуешь, как оно вкусно пахнет? Вку-у-усное мяско. И колбаска есть. На-ка...

Ольга тихонько бросила кусок мяса поближе к собаке, но та даже не понюхала его. Стояла и настороженно глядела на Ольгу.

– Бери же, Кусака, ешь, ты ведь голодная. Смотри, какая ты худая, кожа да кости. Возьми колбаски.

Молодая женщина едва не расплакалась от огорчения, когда собака, так и не понюхав аппетитных кусочков, вдруг повернулась боком, как-то по-человечьи простонала и исчезла так же бесшумно, как и появилась. Выложив принесенную еду из корзинки на траву, Ольга выпрямилась, еще раз тщательно осмотрелась вокруг и, нигде не обнаружив собаки, медленно пошла к дому. Ладно, может, она потом поест, когда предательница уйдет. Похоже, Кусака забыла ее, и никому теперь не верит.

Так продолжалось целую неделю. Каждый день, а то и по два-три раза на дню, Ольга ходила на полянку и оставляла еду на одном и том же месте. Когда возвращалась, все уже было съедено. Но сама собака не появлялась, не откликалась, лишь несколько раз Ольге удавалось мельком увидеть ее в кустах.

Но однажды ночью Ольга проснулась от странного перхающего собачьего лая, раздавшегося где-то у калитки. Как была в ночной сорочке, она выбежала во двор и в предзвездных летних сумерках увидела свою Кусаку: та стояла спиной к калитке со стороны дороги и облаивала кого-то хриплым рваным голосом. Ольга радостно окликнула ее, и собака миг исчезла, словно ее и не было. Но она была, и это говорило о том, что Кусака бродила ночью возле дома. Учувя кого-то чужого, она отгоняла его прочь!

Глава 5

Так оно и было на самом деле. Только собака и сама не понимала, что заставило ее с наступлением ночи подняться со дна оврага, где она жила весь последний год, туда, к даче, и бродить возле нее, поглядывая сквозь рейки забора на окна и двери дома. Там все было тихо, люди спали, а значит, сейчас они не могли принести ей вреда. Какая-то сила заставила собаку остаться возле калитки и лежать там, чутко прислушиваясь к ночным звукам вокруг. И когда где-то на дороге прошли двое

пьяных мужиков, что-то неразборчиво бормотавших друг другу, собака встала, заслоня собой калитку, напряглась и, вытянув худую, всю в репьях, шею, вдруг хрипло и неумело залаяла. Так она предупреждала, что к дому никому чужому не стоит и подходить, потому что она не пустит...

Целую неделю собака глаз не спускала с той, которая звала себя Лелей, а ее Кусакой, и которая приносила много вкусной еды. Впервые за много лет собака каждый день была сыта. И теперь, когда ее больше не мучил беспрестанный голод, у нее стали проясняться мозги, и вспоминались какие-то давние навыки. Как вот, например, охранять дом и людей в нем. И пусть этот дом был не ее домом, а люди, живущие в нем, это чужие люди. И пусть она чувствовала, что все хорошее обязательно должно кончиться, как кончалось все хорошее в ее жизни. Все равно каждую ночь собака приходила на дачу и укладывалась у калитки, изредка сипло и сердито взлаивая. Ольга приказала постелить рядом с калиткой старенькое рядно, и собака, обнаружив его однажды, очень удивилась, тщательно обнюхала его и улеглась на это сухое и теплое, пахнущее домом и людьми, и еще чем-то очень узнаваемым и приятным.

Но каждый раз с первыми лучами солнца собака исчезала.

Глава 6

Сегодня у Ольги с самого утра не задалось настроение. Она успела соскучиться по мужу, увидела плохой сон о маме, да еще на верхней губе вскочил противный и болезненный прыщик. Да и Наденька плохо вела себя: капризничала, опрокинула чашку с молоком на свою новенькую юбочку, надерзила няньке. И погода унылая: небо было мозглым, низко нависшие серые тучи набухли влагой, не иначе быть дождю...

Все было не так, и все раздражало.

Пересилив себя, Ольга однако собралась идти кормить собаку. В доме уже привыкли оставлять от ужина несъеденные кусочки, поэтому ей осталось только сложить в корзинку приготовленный пакет, обуть легкие тапочки, укрыться на всякий случай шалью и пойти.

Идти было недалеко, но пока Ольга дошла, вокруг потемнело, поднялся тугой пыльный ветер, и с набухшего неба закапало.

– Кусака, ты здесь? – крикнула Ольга, оглядываясь. Ответом была лишь тишина, прерываемая шелестом молодой листвы деревьев.

Ольга присела на кочку, достала и развернула пакет.

– Вон сколько понапихла тебе наша кухарка, – заговорила она сдавленным от непонятной обиды



голосом. – Тут тебе и куриные косточки, и яичница, и манная каша... Кусака! Иди же ко мне.

С неба закапало чаще и обильнее, и у Ольги задрожали губы. К горлу подступила такая горечь, такая непонятная ей самой тоска, что ужасно захотелось расплакаться.

– Я понимаю, ты обиделась на меня... Я, мы все причинили тебе боль. Но, Кусачка, миленькая, мы ведь это не со зла, мы ведь любили тебя. Просто люди такие забывчивые, бездумные, глупые, все только о себе да о себе думаем, а до тех, кто рядом, нам и дела нет. Но ведь я хочу исправиться, Кусаченька, я хочу позаботиться о тебе... а ты не веришь мне, да? Ты думаешь, что я все та же, прежняя глупая гимназистка Леля, живущая только для собственного удовольствия? Это не так, Кусака, я уже выросла, стала взрослой, я уже сама мама, у меня есть Наденька, которую я очень люблю. И ради нее тоже я хочу исправить то зло, что причинила тебе, собачка. И ради своего мужа Андрюши, он у меня такой хороший... Я не хочу, чтобы у меня за душой оставался грех, плохой поступок. Но, главное, это ведь ради тебя, Кусаченька, я ведь хочу, чтобы тебе было хорошо, и ты не должна плохо думать о нас, людях, мы не злые, просто мы такие... глупые... Ну, пожалуйста, Кусака, прости меня, ну, выйди ты ко мне...

Хлынул теплый летний дождь, вмиг вымочив Ольгу с головы до ног. И это послужило последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Сидя на кочке, вымокшая до нитки, Ольга горько и отчаянно разрыдалась. Слезы струились по ее лицу вперемешку с дождем, она по-детски слизывала их с губ, и плакала, плакала, вся сжавшись в комок и трясясь в ознобе.

Что-то легонько толкнуло ее в бок и, подняв голову от колен, Ольга увидела рядом с собой Кусаку. Промокшая, похожая на костлявое собачье чучело, собака стояла совсем близко, поджав уши и хвост, и смотрела на нее такими печальными, почти человеческими глазами, что у молодой женщины зашло сердце от острой жалости, нежности и вспыхнувшей радости. Стараясь не вспугнуть собаку, Ольга медленно протянула руку и осторожно дотронулась до мокрого собачьего лба, отчего Кусака зажмурилась, съезжилась и тихо заскулила.

– Милая моя, милая... – горячо зашептала Ольга, все еще прерывисто всхлипывая. – Кусаченька... Ты пришла. Ты услышала мое сердце. Ты поверила мне. Ведь ты простила меня, правда, Кусака? Ах, как хорошо! Пусть теперь льет дождь, нам не страшно. Давай я покормлю тебя.

Собака не отбежала, не спряталась, как прежде. Она стояла рядом и, наклонив голову набок, внимательно следила за тем, как Ольга раскладывала на траве еду. Потом, дрожа всем

своим насквозь промокшим телом и боязливо поджав хвост, Кусака стала есть.

Дождь закончился так же быстро, как и начался. И тотчас выглянуло солнце, и под его лучами засверкала вся поляна, вспыхнула алмазным сиянием дождевых капель.

Собака неспешно ела, а женщина, сидя перед ней на корточках, все говорила и говорила ей ласковые слова.

Потом Кусака проводила Ольгу до самой дачи, но у калитки остановилась и дальше не пошла, как Ольга ее ни уговаривала. Она стояла грязная, мокрая, и вся ее фигурка выражала такую растерянность, такое смятение, что Ольга отступилась.

– Ладно, оставайся здесь. Только больше не уходи никуда, хорошо? Запомни: это твой дом, а я – твоя хозяйка. Лежи, отдыхай.

Увидев, что подстилка Кусаки вся вымокла под дождем, Ольга подняла ее, самолично отжала, отряхнула и повесила на заборчик.

– Как высохнет на солнышке, постелим тебе опять, – пообещала она собаке.

Глава 7

Кусака осталась у калитки. Она легла на мокрую траву, повозилась, устраиваясь поудобнее, вздохнула и закрыла глаза. В животе тепло и сыто заурчало, и Кусака прислушалась к себе. Где-то внутри все еще звучал далекий и ласковый голос женщины, уже такой знакомый и почти родной. Ее легкие руки будто все еще гладили голову, почесывали за ушами, причиняя собаке давным-давно забытое удовольствие, от которого сейчас млела и таяла ее собачья душа.

Из-под сонно приспущенных век Кусака сторожко поглядывала вокруг до тех пор, пока не уснула.

А когда проснулась, уже стояли сумерки. И все вокруг было наполнено разлившейся в воздухе тревогой. По двору сновали люди, хлопали двери, взволнованно и испуганно звучали голоса. Из калитки выскочил рыжий включенный дворник и спешно затопал куда-то. Вскоре подъехал экипаж, из которого вышел солидный господин с чемоданчиком в руке, и когда он проходил мимо Кусаки, от него так резко пахло лекарствами, что собака сморщилась и чихнула. Заплаканная нянька, беспрестанно кланяясь, повела господина к дому, торопливо рассказывая на ходу про “лихорадку” и “горячку”.

До самой ночи Кусака неприкаянно бродила под забором, заглядывала во все щели, стараясь высмотреть свою Лелю, но той нигде не было видно. Люди пробегали хмурые, расстроенные, и



никто не обращал внимания на худую, клочкастую псину, которая, забыв о привычной осторожности, крутилась у них под ногами, тревожно и вопросительно заглядывая им в глаза.

Дворник Федор, споткнувшись о собаку, чуть было не упал, выругался в сердцах и хотел уже дать ей хорошего пинка, но та, взвизгнув, увернулась.

– Погоди-ка, Федя, – сказала нянька Степанида. – Это поди та самая приبلуда и есть, которую Ольга Васильна кормит и трогать не велит. Ой, кака же страхолюдина! Но ты все ж таки ее не замай, а то попадет всем нам. Пусть себе лежит.

Потом за калитку вышла кухарка и вынесла собаке полную миску теплого варева.

– На-ко, похлебай, – сказала она густым басом, кутаясь в шаль. – Тебя, бедолагу, вишь, на довольствие поставили. Золотое сердце у нашей матушки. Сама вон хворает, лихорадит ее после дождя-то, а все об тебе беспокоится. Покормите, грит, да не забижайте мою собаку...

Несколько минут она наблюдала за тем, как собака, дрожа и поджав хвост, тихонько ела из миски, и добавила жалостливо:

– Ох, батюшки, тоже мне “собака”... Да разве ж ты собака? Чучело и есть чучело, Господи прости...

Глава 8

Несколько дней Ольга провела в горячечном бреду. Промокнув в тот день под дождем до нитки, она сильно простудилась. Ни порошки и пилюли, прописанные доктором, ни примочки и травяные отвары, спроворенные нянькой, не помогали, и вконец обеспокоенные домочадцы уже подумывали о том, чтобы вызвать депешей мужа и маменьку Ольги Васильевны.

...Очнувшись от тягостно-бредового, горячечного сна, Ольга повела вокруг глазами. Стояла ночь, комната была залита голубоватым светом луны, льющимся из окна. В кресле посапывала усталая Степанида. У Ольги кружилась голова, болели глаза, ломило все тело. Ей хотелось пить, но она не могла открыть рта, чтобы позвать няньку. Кое-как встала на ватные ноги и, трясясь, стуча зубами, поплелась, сама не зная, куда. Вышла из спящего дома и встала привидением в дверях: в длинной белой рубашке, с растрепанными волосами, дрожащая и бледная.

И тотчас же за забором что-то завозилось, запрыгало, заперхало – это Кусака увидела свою хозяйку.

– Кусака... – слабо простонала Ольга, и ее повело, замутило, закружило. Легким, бессильным комочком упала она на крыльцо и осталась лежать.

Собака пришла в неистовство. Она прыгала за забором, металась и сдавленно кашляла, давно

разучившись лаять по-собачьи. Наконец, протиснувшись в щель, она ворвалась во двор, бросилась к обеспамятевшей Ольге, со стоном обнюхала ее, облизывая лицо и руки, потом села рядом, подняла вверх морду и страшно завывала. На этот зов сбежались люди, поднялась суматоха, бабы ревели, мужики суетились.

Ольга открыла глаза, когда ее уже уложили в постель.

– Дитятко ты мое! – захлебывалась слезами нянька. – Ты пошто такое учудила, а? Пошто встала-то? И куды это тебя, хворую, понесло? Да если бы не энта псина твоя, мы бы так ничо и не узнали до свету... Так бы и лежала ты там, матушка моя... Ох, дура я окаянная, старый пень, как же это я за тобой не доглядела?

И тут Ольга увидела, как в раскрытую дверь спальни боязливо и настороженно выглядывает кудлатая собачья морда. Это Кусака, нарушив все свои внутренние запреты, в суматохе проникла в дом, отыскала свою хозяйку и теперь, изнемогая от страха, смотрела на нее из-за угла.

– Нянька, – тихо прошелестела Ольга, не сводя с собаки глаз, – ты сиди тихо, не поднимай шума. Не спугни мою Кусаку. Она пришла. Господи, она пришла ко мне! Сама пришла... Кусачка, иди сюда. Иди ко мне.

Собака топталась на пороге, прижав уши и оглядываясь. Ее всю трясло. Но слабый и родной голос звал ее, тонкая рука похлопывала по постели, и собака, тихо повизгивая, двинулась на этот зов. Последние несколько метров она буквально проползла на брюхе и замерла у кровати.

Ольга опустила руку, нашарила теплый собачий лоб и стала гладить его, приговаривая слабым счастливым голосом:

– Вот и славно, вот и умница, вот и молодец, миленькая. Лежи здесь, не уходи. Будь со мной, Кусака, ладно?

– Чудны дела твои, Господи, – перекрестилась нянька, глядя, как собака, обливав руку хозяйки, убралась под кровать.

Глава 9

Уже на другой день Ольга поднялась на ноги. Она была еще слаба, но жар кончился, лихорадка отпустила, и она даже поиграла немного с Наденькой, которая сильно соскучилась за эти дни по маме.

Степанида ворчала, пытаясь вернуть хозяйку в постель, но та и слышать об этом не хотела. Обуреваемая жаждой деятельности, она приказала нагреть воды и приготовить все для купания Кусаки. Но прежде ту надо было выстричь, и был собран домашний совет. Было решено привязать



собаку к дереву во дворе, а стрижку поручить дворнику Федору.

Так и сделали. Кусака дала себя привязать, но так дрожала и скулила, что Ольга не могла сдержаться слез.

– Миленькая, не бойся, – уговаривала она трясущую собаку, и та прятала свою голову в ее колени. – Не бойся, Кусака, тебе больше никто не причинит зла. Мы тебя выстрижем, вымоем, и ты будешь чистенькой, красивой...

Поглазеть на необычайное представление высыпала вся челядь. Наденька, сидя у няньки на руках, вся извертелась, охая и повизгивая от восторга. Все с любопытством смотрели, как пласт за пластом падали в траву толстые грязные клочья собачьей шерсти в репейниках и многолетних колтунах.

Кусака решила, что пришел ее последний час. Громадные ножницы шелкали у самого ее носа, и она, жмурясь, глухо рычала, дергалась, но сильные руки в рукавицах держали ее крепко, а ласковый, возбужденно-радостный голос Лели успокаивал, не давая собачьему сердцу разорваться от страха. Кусаку нервировала толпа собравшихся людей, их смех и восклицания, ей хотелось сгинуть, спрятаться от всех, и она находила убежище под Лелиными руками.

Люди взорвались дружным хохотом, когда вспотевший от усердия Федор, наконец, закончил работу и представил им свое творение: без свалывшейся шерсти собака оказалась неожиданно маленькой и невероятно тощей.

– Крыска! – охарактеризовала ее горничная Катя, брезгливо сморщив носик.

– Не крыска, а собачка, – поправила ее добрая Наденька. – Правда, это хорошая собачка, мама? Можно я ее поглажу?

– А вот мы ее сейчас искупаем с карболовым мылом, тогда и погладишь, – весело согласилась мама, разводя в лохани с теплой водой едучее мыло. Няня было запротестовала, дескать, не господское это дело – паршивых собак мыть! – но Ольга, покрасневшая, оживленная, в простой юбке и в рубашке с закатанными по локоть рукавами, пожелала сделать это сама.

На Кусаку лились потоки теплой воды, и Лелины руки с усердием скребли и чистили щеткой все собачье тело. Кусака фыркала, кряхтела, стонала, но не вырывалась, только продолжала крупно и нервно дрожать. Странное дело, вот уже больше двух часов мучили ее люди, но ей не было больно. Напротив, тело ее испытывало удовольствие, становилось необычно легким и свободным. Нигде ничего не болело, не чесалось, не зудело, как было всегда, с незапамятных времен, лишь слегка пощипывало едкое мыло, убивая микробов, да слезились глаза, куда Леля, покончив с

мытьем, закапала какое-то лекарство, и Кусака с удивлением отметила, что мир вокруг прояснился. Напоследок Леля смазала мазью многочисленные язвочки на оголившейся коже, а нянька размешала в теплом молоке средство от глистов и заставила собаку проглотить это.

Спустя час, утомленная волнениями и страхом, чистенькая и ухоженная Кусака крепко спала на мягкой подстилке рядом с кроватью Лели. А та сидела рядом с нею, тихонько поглаживая маленькое шелковистое собачье тельце, ушки и лапки, и теплый сытый животик, и думала, какое же счастье, что она, Ольга, решила приехать на лето именно сюда, и что Кусака не пропала за шесть лет, а дождалась ее, и узнала, и простила, и поверила в нее еще раз.

– Наверное, я чувствовала, как тебе было плохо, – шептала Ольга. – Меня так сюда тянуло, звало что-то, будто кто-то здесь меня ждал, звал... А это была ты, Кусачка. Моя совесть, моя живая душа, моя бедная скиталица. Вот скоро приедет Андрюша, и ты обязательно ему понравишься. Теперь-то уж точно понравишься, вон какая ты стала чистенькая, красивая...

Конечно, до красавицы Кусаке было еще далеко: выстриженная почти догола, вся заляпанная мазью и зеленкой, тощая, как собачий скелет... Но это была уже ДОМАШНЯЯ СОБАКА, и такой она себя почувствовала, когда проснулась. Тело было легким и чистым, ранки не болели, глаза стали ясными и светлыми, а желудок не сводили злые, голодные спазмы.

Кусака встала, потянулась, зевнула с подвизгом, энергично встряхнулась и пошла искать Лелю. Комнаты и люди не пугали ее больше.

– О, явилась – не запылилась, краса-девица! – благодушно прогудела кухарка, когда в поисках Лели Кусака заглянула на кухню. – Иди-ко, почавкай, болезная.

Кусака стала неспешно обедать. А когда в кухню вошла Ольга с Наденькой на руках, бросила есть и побежала к ним, извиваясь всем тельцем. Она радостно терлась о ноги своей хозяйки, лизала ее руки, ткнулась носом в теплую щечку маленькой девочки, норотившей обнять ее за шею, и вдруг отчаянно завияла коротеньким распушившимся хвостом.

Этого Кусака не умела делать никогда.

Глава 10

Когда Андрей Георгиевич вернулся в Лукьяновку, он застал жену и дочку в отличном состоянии. Загорелые, веселые, здоровые, всем своим видом они выражали такую радость бытия, что он, усталый от бесконечных серьезных и



важных дел, от души позавидовал им. Обласкав его сверх всякой меры, они представили ему для знакомства маленькую пушистую собачку. Рыжевато-желтая шерстка ее отливала почти человеческой сединой, светло-коричневые глаза смотрели живо, внимательно и чуть встревоженно, и во всем ее облике было что-то затаенно-печальное, будто где-то глубоко внутри собаки был запрятан тайный страх...

– Забавная псинка, – сказал Андрей, вглядываясь в Кусаку. – Веселая, сытая, довольная, а будто все чего-то боится.

– Она боится потерять нас, – ответила Ольга, поглаживая бочок привалившейся к ней собаки. – Ох, Андрюша, если бы ты знал!..

Вскоре Андрей Георгиевич уже знал всю историю Кусаки. Несколько раз за время рассказа Ольга принималась плакать, но он утешал ее ласковыми поглаживаниями рук, а когда она закончила, поцеловал жену в лоб.

– Что ж, милая, теперь твоя душа должна успокоиться: ты ведь исправила свой невольный грех. Экая ты у меня чувствительная, Оленька... Не знаю, стоило ли так уж переживать по поводу брошенной собачонки, но, видно, натура у тебя такая. Однако, дело сделано, собачка отмыта и откормлена, теперь, как ты правильно решила, нужно найти ей хороших хозяев, и пусть себе доживает свой век в тепле и сытости.

– Ох, Андрюшенька! – Ольга прерывисто вздохнула и прижала руки к груди. – Это я сначала так подумала, а потом, позже... Понимаешь, ей ведь

не просто тепло и сытость нужны. Ей я нужна, понимаешь? Она меня узнала, но помнила, какую боль я ей причинила. И она не хотела меня прощать... А потом все же простила. Потому что поверила мне снова, когда увидела, что я ее люблю...

– И что же ты хочешь?

– Я... О, мой дорогой, ты ведь не будешь возражать, если мы возьмем Кусаку с собой.

– Домой? В Петербург?

– Да, домой. Ну, представь себе, что с нею будет, если я опять оставлю ее. Она уже не сможет прижиться у других. И потом, кто здесь, в деревне, будет присматривать за ней? У них это вообще не принято. Я же изведусь вся, думая, как она, да что она... А дома она будет при мне, при Наденьке, та ее так полюбила, играет с нею. Она же маленькая, старенькая, много ли ей места надо...

Кусака, мелко дрожа, прижалась к ногам хозяйки и не спускала тревожных глаз с человека, который почему-то внушал ей опасение. От него хорошо пахло, у него был тихий, спокойный голос, он держал Лелю за руку и, видно, не собирался причинить ей зла. Но Кусаке было тревожно.

И она не поняла, отчего ее хозяйка вдруг взвизгнула, кинулась этому человеку на шею и стала жарко целовать его. А тот, смеясь, отвечал на ее поцелуи, кивал головой и, наклонившись, потрел Кусаку по шее.

– Ну, что ж, собака, видно, быть тебе членом нашей семьи, а? Милости просим, рыжуха...

КАМЕНЬ-ОЖИДАНИЕ

...Веками морские волны омывали этот Камень.

Иногда, особенно в тихие звездные ночи, когда он смотрел на черное небо, внутри его рождались неясные воспоминания о том что, когда-то, сотни тысяч лет назад, он был громадной скалой, упирающейся своей вершиной в небесную твердь. Откуда-то из глубин памяти возникали смутные ощущения своего какого-то громадного величия и значимости, и тогда Камень начинал тосковать. Он все еще чувствовал себя огромной Горой, несокрушимой и монолитной, и не понимал, почему он теперь превратился в заброшенный и никчемный ее осколок, валяющийся на пустынном морском берегу. Когда-то очень, очень давно Камень был так велик, что его ничто не волновало, не тревожило, не удивляло. Он просто БЫЛ. Безбрежная морская пучина далеко внизу распласталась у его подножия

и подобострастно лизала гигантские каменные ноги. А такая же безбрежная пучина оведала его снежную вершину воздушным голубым покрывалом, пронизанным сияющими солнечными лучами. В седых расщелинах бровей Горы прятались белоснежные кудрявые облака. А самые высотные птицы – орлы – не долетали даже до ее груди.

И та величественная Гора всегда думала о том, что в этом мире так заведено: есть ГОРА, и есть все остальное. И море, и небо, и облака, и звезды – это все существует для нее.

А для чего же еще?

Вот только для чего существует сама Гора – этого она не знала, потому что никогда не думала об этом. Тогда она еще не умела думать.

Но ей пришлось-таки этому научиться. Потому что некогда случилось такое, что вздыбило землю,



зашатался весь мир вокруг, казавшийся таким прочным и незыблемым, и Гора вдруг вздрогнула, мучительно содрогнулась, вспучилась и... рухнула вниз, рассыпавшись на миллионы каменных глыб.

А когда она пришла в себя после тысячелетнего забвения, оказалось, что это уже не Гора, а только Камень от нее. И время для него будто остановилось. Много прошло времени, прежде чем он стал осознавать себя. И тогда стали рождаться внутри горькие вопросы: почему же? Почему так случилось, что, бывший всегда наверху, он вдруг оказался внизу? Кто и за что низверг его с такой поднебесной высоты? И чем ему теперь гордиться, если не осталось от него никакого величия? Ведь теперь даже то самое море, похожее сверху на лужицу, которое когда-то покорно лизало его ноги, сейчас, во время бури, с ревом и грохотом бросается на него и топит под своими бесцеремонными волнами, не спрашивая, нравится ему это или нет. А морские чайки, которые раньше не осмеливались в полете забраться выше его пупка, теперь садятся на его спину и преспокойно чистят там свои перья...

Но Камень ничего не мог с этим поделать. Лежал угрюмо и неподвижно, беззащитный перед волнами, ветрами и дождями. И постепенно впадал в оцепенение, которое сродни тихой живой смерти. Он все видел, все слышал, но больше ничего не чувствовал: ни горечи, ни сожаления, ни обиды.

* * *

Тысячелетиями лежит Камень на этом пустынном берегу. Веками его ежесекундно лижут мягкие морские волны или обрушиваются на него с ревом и грохотом. И от этого он стал гладким отшлифованным и философски-смирненным.

Тысячелетиями вокруг него было одно и то же, и ничего не менялось. Мирно плескались или грозно шумели морские волны. То высоко, то низко летали над ним чайки и бакланы, зорко и хищно выискивая в море зазевавшихся рыб. Позже на берегу стали появляться странные существа, называемые людьми, и Камень уже настолько изучил их, что стал различать эти существа. Это были мужчины и женщины, старики и дети. Никакого вреда Камню они не причиняли, и он к ним привык, как привыкал ко всему, что его окружало. Эти люди все время изменялись. Сначала в течение многих сотен лет они были то голые, то полуголые, в каких-то забавных шкурах и лохмотьях. Потом они придумали себе какие-то одежды, лодки, гарпуны и выезжали в море на охоту.

Проходили над морем годы и столетия, и вот уже люди стали жить неподалеку от моря в красивых домах, утопающих в пышной зелени. А сюда, на морской берег, усыпанный мелкой разноцветной галькой, они приходили только отдыхать. Они лежали на пляже, ходили,

разговаривали, смеялись, барахтались на мелководье, визжали от какого-то удовольствия, известного только им одним. Им нравилось это жаркое солнце, эти теплые морские волны...

Камень всегда молча наблюдал за ними и думал, что люди – это такие же Камни, только они умеют ходить, смеяться и плавать. И что они умеют чему-то радоваться. Только он не мог понять, чему именно.

Но однажды он понял. И это понимание растревожило его каменную душу...

В тот день море было беспокойно, и людей на берегу – немного. Сильный ветер гнал на берег сердитые волны, и потому никто не хотел плавать. Но солнце светило ярко и знойно, и многие люди загорали на камешках. И вот двое из них – мужчина и женщина – сели на спину Камню, опустили ноги в бурлящую воду и стали любоваться морской вакханалией. Да, именно так: любоваться. Потому что женщина сказала:

– Боже, какая красота! Ты только посмотри...

И мужчина подхватил:

– Сердится, мечется, бушует, а прямо дух захватывает... В море идет своя, неведомая нам, жизнь.

Женщина задумалась. Рука ее машинально поглаживала мокрые бока и спину Камня.

– Интересно, – сказала она. – А вот у камней есть своя жизнь? Вот у этого, например. Сколько лет лежит он тут на берегу? О чем он думает? У него есть своя душа?

Мужчина тоже потрогал Камень. Он не сказал женщине, что она – фантазерка и выдумщица. Он тоже задумался.

– Мне кажется, душа есть у всего на свете. Своя, особенная, но душа. И у нашего камня – тоже.

– Бедный... Ему, наверное, так одиноко. Хоть бы рядом с ним лежал еще один такой же камень, они бы переговаривались друг с другом...

– А он не один. Смотри, сколько волн вокруг! Наверняка, им есть о чем потолковать друг с другом. Он лежит себе, а они всякий раз приносят ему разные новости...

Они помолчали. Потом женщина сказала:

– Я вряд ли смогла бы сейчас встретиться и с морем, и солнцем, и со всей этой красотой, если бы не ты... Спасибо тебе, милый.

– Ну что ты... Я и сам счастлив, что мы с тобой смогли сделать это. Приехали – и попали в этот чудный уголок. Но без тебя здесь все было бы иначе...

Они потянулись друг к другу, обнялись и стали молча смотреть в бушующие волны. И из их внутренней сути заструились такие мягкие и теплые токи, что Камень вдруг замер и оцепенел. Он не понял, что с ним произошло, только почувствовал,



как эти токи нежно проникли в него, в его суть, и там что-то загудело, как в трансформаторной будке.

Откуда-то из глубины его сознания вдруг всплыло смутное и неясное ощущение, которое облеклось в слово-мысль: “Любовь. Любовь. Любовь? Что это? Что это – любовь?”

А те двое продолжали сидеть, тесно прижавшись друг к другу, и Камень услышал биение их сердец, и вот уже это биение проникло в него, и что-то горячее, гулкое, взволнованное забилося у него внутри. Оно растревожило Камень, он совсем растерялся, потому что все эти непонятные чувства стали вытеснять из его сознания все философское смирение, которое он приобрел за многие тысячелетия.

Потом мужчина и женщина встали, разомкнули руки, и их тотчас окатило пенистой волной. Они засмеялись и ушли.

Камень остался один.

Вскоре внутренняя тревога его улеглась, и он с каким-то непонятным сожалением почувствовал, как привычное смирение возвращается к нему и охватывает все его существо. Но он еще долго слышал внутри себя слабое биение человеческих сердец...

* * *

Они всегда были такие одинаковые, эти волны! В тихое безветрие, когда ничто не волнует морскую гладь ни сверху, ни снизу, они мягко и лениво, еле-еле, касаются своими мокрыми телами подножия Камня, и шелестят монотонно и однообразно одно и то же:

– Спишь-ш-ш? Спишь-ш-ш?

А когда море по причинам, известным лишь ему одному, вдруг начинает вспучиваться, дыбиться, гудеть, то волны, повинаясь его настроению, все, как одна, вдруг словно с цепи срываются. С ревом и грохотом несутся они к берегу, скручиваясь на бегу в чудовищные мельницы. С воем, гудением и шипением обрушиваются они на Камень, заливая его тоннами воды вперемешку с песком и галькой. Потом море снова втягивает в себя все это, чтобы через минуту вновь ринуться на берег...

Но и в бурю и в штиль его волны были всегда одинаковыми, и ничем не отличались одна от другой. Во всяком случае, Камень никогда не различал их.

До тех пор, пока не пришло узнавание.

В тот день тоже все было, как обычно. На этот раз море было спокойным, только чуть-чуть игривым. Наверное, это из-за легкого ветерка, играющего с волнами. Они тоже расшалились: одна за другой накатывали к изножию Камня, озорно брызгались в его бока и спрашивали:

– Ты что, не спишь-ш-ш? Ты что, не спишь-ш-ш?

Он не спал, конечно. Камни ведь не умеют ни спать, ни есть, ни пить, ни ходить. Они умеют только думать. И еще – они умеют ждать. В бурю, когда их беспрестанно заливают ревущие волны и топят под собой, когда их захлестывают дожди, песок и галька, когда они глохнут от неистового рева моря и грохота грома в небе, Камни с философским мужеством думают о том, что рано или поздно все это кончится.

Надо только подождать.

В жару и безветрие, под обжигающим солнцем Камни впадают в оцепенение. Время для них будто останавливается. Они дремлют в знойном мареве и сонно думают о том, что видят перед собой. Вот низко пролетела толстая чайка с трепещущей серебристой рыбкой в клюве... Вот о каменный бок скребнула крабья клешня...

И вдруг Камня будто что-то толкнуло. Он открыл свое внутреннее око и прислушался. Что-то произошло. Но что?

Это был первый за много лет вопрос, который он сам себе задал. Слабое и теплое ощущение вспыхнуло изнутри, что-то полузабытое, волнующее, коснулось его еще и еще раз. Что-то нежное обняло его и проникло в самую суть.

Волна. Это была волна. Самая обыкновенная морская волна. И самая необыкновенная из всех, кого он знал до сих пор. Всем своим гладким, мягким, шелковистым телом она прильнула к Камню. Отбежала назад и тут же вернулась, вновь приникнув к его бокам и спине, оставив на них неизгладимый след. И заговорила... Никто и никогда еще не говорил с ним так необычно и волнующе.

– Это ты? Это ты! Я узнала тебя. Только ты стал таким маленьким... Но все равно ты все такой же крепкий и сильный... и тебя так приятно обнимать!

За всю свою вековую жизнь Камень только однажды познал, что это такое – волноваться. Это случилось с ним тогда, когда от людей проникло в него слово “Любовь”, оставив после себя горячее биение их сердец. Но при чем здесь это? Ведь это всего-навсего волна... Камень молчал.

– О, какой ты был когда-то недостижимый и огромный! Я все время обнимала твои ноги, целовала тебя, разговаривала с тобой, но ты был так высоко! Ты не замечал меня, не слышал и не видел. Ты был таким гордым и одиноким... Я любила тебя за твою мощь, за твоё величие. И мне было так жаль тебя – оттого, что ты всегда один, и стоишь на одном месте, и ничего не знаешь о большом мире вокруг. А теперь ты по-прежнему один? Ты не один? Что ты любишь? Что тебе больше нравится,



глубина или поверхность? Тепло или холодно? Движение или покой? Солнце или луна?

Мягкая, шелковая Волна совсем забросала его вопросами, беспрестанно обнимая и лаская его, целуя и тормоша. Но он молчал.

– А ты любишь разговаривать со звездами? Ты когда-нибудь слышал, как они поют? О, они делают это так красиво! Тебе нравится слушать песни звезд? А знаешь ли ты о том, как смешно и весело гоняться за рыбками?

Камень почувствовал, что внутри у него что-то завибрировало. Он напрягся. Он хотел заговорить. Он мучительно хотел заговорить. Он хотел что-то ответить этой странной Волне. Он так о многом хотел бы расспросить ее. Но он молчал.

– Ты все время живешь здесь? Что ты видел? Теперь, когда ты стал таким маленьким, что я легко могу обнять тебя всего, ты мог бы увидеть весь мир. О-о, бедный... Ведь это так трудно, так тяжело – все время стоять на одном и том же месте... Я никогда не останавливаюсь. Я этого не умею. Мне пришлось бы сразу умереть, если бы я остановилась. Мне надо все вокруг видеть и чувствовать. И я все вижу и все чувствую, и все новое и новое, и мне никогда ничего не надоедает. И столько всего еще надо увидеть и почувствовать! Как же это сделать, если все время лежать на одном и том же месте? Бедный... Если бы ты мог пойти со мной! Я чувствую – ты хороший. Пойдем со мной. Я столько всего покажу тебе! Я столько тебе расскажу! Идем...

Что-то глухо и больно застонало в каменной груди. “Да, да, да! Я хочу пойти с тобой! Кто бы ты ни была – я хочу пойти с тобой...”

Камень вдруг почувствовал ЖЕЛАНИЕ. Он захотел уйти со своей странной незнакомкой, которая стала совершенно необходимой ему. Ничего в жизни ему не хотелось сильнее этого. Но он не смог... Он не смог даже шевельнуться. Потому что Камни не умеют двигаться.

Ветерок, еще так недавно легко играющий с волнами, покрепчал. Он взвихрил их гребни, перепутал их, и вот уже две волны, переплетаясь, шумно захлестнули Камень. И он запаниковал. Потому что в сердитом их шипении растворился милый голосок его Волны. Но вскоре он вновь услышал его, уже размытый и отдаленный.

– Ой, мне пора бежать! Скоро будет буря... Я всегда ухожу в глубину, когда на море буря... Там тихо, там такие красивые золотые рыбки... Ах, как мне не хочется оставлять тебя! Ты не можешь подняться? Ах, как жаль... как жаль...

Камень напряг все силы, чтобы оторваться от своего места. Но оно держало его крепко. Оно было сильнее Камня.

– Ну, что ж... тогда прощай, мой сильный... – прорвался к нему сквозь нарастающий гул затихающий напев. – Мне было хорошо с тобой. Я

ухожу... Но, может быть, я еще вернусь. Ты будешь меня ждать?

Камень набрал в грудь побольше воздуха. Он хотел крикнуть так, чтобы Она услышала... Что он, конечно же, будет ее ждать. Он будет ждать ее всегда и с места не сдвинется. Но лучше бы она осталась.

“Не уходи, – беззвучно молил он, – пожалуйста, не уходи. Не оставляй меня одного. Я больше не смогу быть один”.

– Прощай, прощай... – еще раз прорвался к нему удаляющийся голос Волны. – Я тороплюсь. Но скажи мне, как тебя зовут? Тогда я иногда буду звать тебя по имени, чтобы ты услышал меня издали. Скажи мне свое имя, чтобы я могла думать о тебе... Кто ты? Кто ты?

Но Камень молчал.

Полуослепнув от беснующихся вокруг волн, захлестывающих его с головой, он силился разглядеть в мутном месиве из воды, песка и камней нежное, легкое, голубое тельце своей Волны.

Но она уже ушла.

* * *

Камень не знает, сколько времени прошло с тех пор. Знает только, что после той удивительной встречи все в нем переменялось. Нет, внешне он остался прежним: небольшим серым камнем, отшлифованным морем до гладкости. Но внутри он стал другим.

Он стал весь – ОЖИДАНИЕ.

Шло время. Все те же волны, дожди и мокрые снега заливали Камень. В него ударяли синие и белые молнии. Его жгло солнце. Его обдували ветры.

А он все ждал.

Изредка на него садилась какая-нибудь чайка и чистила клювом свои белые перья.

Или на миг на его спину опускалась легкокрылая невесомая бабочка и тут же вспархивала, испугавшись ленивого плеска любой волны.

И все это время в Камне шла большая внутренняя работа. Она гудела в нем, как гудят электрические провода во время грозы. Он думал и задавался вопросами. Они возникали в нем снова и снова. О том, что он не знает, кто он, но очень хотел бы узнать это. О том, что ему просто необходимо узнать: ПОЧЕМУ он всю жизнь лежит на этом берегу – вместо того, чтобы встать и пойти... Кто предназначил ему эту судьбу? И в чем ее смысл? Ну, лежал и лежал он свою тысячу лет. Лежал, размышлял себе и думал, что это и есть жизнь. Думал, что все так живут. Море, вон оно, плещет и плещет себе, ревет и грохочет – и так миллионы лет. Чайки летают. Рыбы плавают. Камень лежит. И что же это за штука такая – ЛЮБОВЬ? Почему это



слово снова и снова выплывает из сознания и заставляет сильнее биться каменное сердце? Почему оно не появлялось в нем, когда он был величественной Горой, не умеющей чувствовать и думать? Что заставило его понять все это теперь, когда он стал ничтожным маленьким серым камнем? Это передалось ему от людей?

И что такое есть в людях, чего не было в нем? Может, это из-за того, что они умеют любить и радоваться? Может быть, из-за этого умения они способны ходить по земле, а не лежать камнем на одном месте? Но почему тогда незабываемые горячие токи вошли в Камень лишь однажды, когда те двое сидели на нем, переполненные чем-то таким до краев. До такой степени переполненные, что оно перелилось из них прямо в него, заставив застучать каменное его сердце.

Значит, любовь и радость живут не во всех людях?

Много вопросов рождалось в Камне. Но некому было дать на них ответа. Ему приходилось до всего додумываться самому.

Но... Ведь была же она. Его голубая Волна. Она не просто плавала, плескалась и носилась себе на воле. Она ЖИЛА. И она тоже радовалась, хоть и не была человеком. И она сказала, что полюбила его очень давно, когда он был еще Горой. Значит, можно любить и тогда, когда огромная Гора рушится и становится простым серым Камнем? За что же его любить, если нет в нем никакого величия, никакой мощи? И чему может радоваться обыкновенный камень?

Мучительно вызревал внутри еще один, но самый главный вопрос. Камень чувствовал, что теперь, когда в нем мягко и взволнованно беспрестанно бьется его сердце, оживленное любовью двух людей и нежной голубой Волны, он уже не может быть один. Ему нужен кто-то, кто любил бы его. И потому он снова и снова спрашивал неизвестно у кого:

– Скажите... Она еще вернется?

Он не знает, что будет, когда Волна вернется. Ну, вернется она... И что? Все равно он не может сдвинуться с места и уйти с нею. А она не сможет остаться рядом с ним навсегда. Для этого ей нужно стать Камнем.

Но он по-прежнему ждет ее. Ту единственную Волну, так непохожую на все остальные. Ту, которая могла бы его полюбить. Ту, которая разбудила в нем ЖЕЛАНИЕ заговорить, закричать так, чтобы она услышала его зов. Ту, с которой ему хотелось уйти. И Она вызвала в нем еще что-то...

Может быть, Она вызвала в нем жизнь?

Тогда зачем? Зачем жизнь Камню?

Но Она сказала, что вернется.

И потому он ее ждет.

Разве Он думал когда-нибудь, что он способен чувствовать? Волноваться... Желать чего-то... И даже любить... Но вот узнал, что, оказывается, – способен.

Но тогда разве не может случиться такое, что однажды, когда Волна вернется, заговорит с ним, обнимет его нежно и шелковисто, и снова позовет его с собой, он соберет свои силы и... Встанет. И – пойдет ей навстречу.

Но ведь камни не ходят... И они не умеют плавать... Как же тогда? А что, если... Камень даже задохнулся от такой ясной и простой мысли. Пройдет сколько-то времени, и море, беспрестанно шлифуя его, превратит Камень в совсем маленький камешек. Такой камешек, который Волна легко поднимет на свои шелковые ладони и понесет с собой. Ну, конечно! Это ведь так просто и естественно. Она будет повсюду нести его с собой, а когда уйдет на самую глубину, то положит его на морское дно и будет плескаться вокруг него, смеяться и разговаривать с ним. И он увидит, как она смешно гоняется за рыбками. И они вместе будут познавать тот мир, который окружает их. И услышат песни звезд... И познают Любовь и Радость. Как все люди.

Камень понял, что для того, чтобы тебя любили, совсем необязательно быть мощным исполином. Потому что дело не в размерах и не в силе. Дело в любви. Той самой любви, которая даже в самом маленьком и слабом теле превращается в исполинскую силу...

И Камень улыбнулся своей внутренней улыбкой. Счастливой улыбкой. Потому что Он поверил: ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

Нужно только подождать.



“ОТЦЫ НАШИ”

1

Мурат почти не помнит отца.

Но сейчас, под дробный перестук колес, в промерзшей и одновременно душевной от дыхания множества больных и усталых людей теплушке вагона, он снова и снова вызывал перед собой облик высокого чернобородого и черноглазого человека – своего отца. Добрые, улыбочивые губы, постоянная хитринка в глубине глаз, сильные руки с широкими ладонями – вот и все, что осталось в памяти от отца.

Стучат колеса. Стучатся в уставшую голову далекие воспоминания.

Отец умер много лет назад. Смутно помнит Мурат то время. Пришли советские уполномоченные: трое угрюмых, тощих людей в длинных серых пальто и “раскулачили” отца. Тогда Советская власть уже уверенно вступила в свои права, и тому, кто, по ее мнению, имел больше, надлежало делить свое добро с теми, у кого ничего не было. Отец не сопротивлялся и не бесновался, как другие. Он ушел во двор к журчащему арыку, сел под старым гранатовым деревом на корточки и молча смотрел, как разрушают его гнездо, как выводят со двора скот. Мурат будто снова увидел его: молодые крепкие руки сплелись пальцами так, что вздулись вены, всегда смеющиеся его глаза потемнели до непроглядной черноты, а губы сложились в презрительную, недобрую усмешку.

Но уже на другой день отец не смог подняться с курпачи¹. Ничего у него не болело, ни на что он не жаловался, просто лежал, закрыв глаза, и на его лицо будто приклеилась вчерашняя страшноватая усмешка. А через неделю над кишлаком уже неся истошный вопль молодой Зумрад, рыдавшей на груди мужа, и маленький осиротевший Муратик с любопытством наблюдал за тем, что творилось в доме, не осознавая еще своего горя.

Пережив мужа на три года, умерла от какой-то грудной болезни и Зумрад, оставив сына полным сиротой. Старший брат отца взял племянника к себе, и вплоть до самой службы в армии Мурат жил в семье дяди вместе с его детьми.

Дядя никогда не обижал его – родственные чувства очень сильны в узбекском народе, но с тех самых пор, как Мурат начал сознательно мыслить, его мучительно грызла зависть. Он завидовал всем, у кого был отец. Молчаливый и мрачноватый, он тщательно скрывал эту зависть от всех, и еще больше замыкался в себе. Подростком он часто убежал в овраг, густо поросший бурьяном, сухим от

зноя, укрывался там от всех на свете и, поплавав, начинал усиленно вызывать перед собой ускользающий образ отца. Мурат улыбался ему губами, отвыкшими от улыбки, горячо и долго рассказывал отцу обо всем, что с ним происходило. Слова так и сыпались с его губ, привыкших к молчанию.

С годами Мурат настолько привык к тени своего отца, постоянно сопровождавшей его, что без этого уже не мог обходиться. Малейшая нечаянная радость или любая обида заставляли его убежать ото всех, прятаться и тихонько звать: “Ата! Ата-джан!..” И вот он уже не одинок...

Мать он вспоминал редко. Отец был для него всем на свете.

Но вот Мурат повзрослел и ушел в армию.

А тут – война.

Многое увидел на войне молодой боец. Многому ему пришлось научиться, ведь он пришел служить, почти не зная русского языка, да и характером не мог похвастаться: он был молчаливым до немоты, стеснительным, замкнутым.

Сначала Мурат стрелял во врага, зажмурившись. Черт его знает, что это за немцы такие, может, тоже люди? Но чем больше узнавал он суть войны, тем жарче становилось в холодном сердце. Друг у него был – первый и единственный тогда русский друг, мечтатель и поэт Сергей Рукавишников, который никогда не смеялся над Муратом, учил его русским словам и читал ему свои непонятные, но красивые и певучие стихи.

Убил враг Сергея. Друга и поэта.

И Мурат перестал зажмуриваться, когда стрелял во врага.

Военной судьбе Мурата Авазова пришлось испытать многое: и голод, и холод, и ранения. Теперь он уже знал, что воюет не только за свой щедрый, напитанный солнцем край, но и за всю эту, часто непонятную, но ставшую уже чем-то близкой, огромную землю, что зовется Россией.

А потом – неожиданно и страшно – плен...

Бой был как бой. Грохот, вой, визг снарядов. Скрипучий песок на зубах. Надежный друг, пулемет, в потных руках. Тяжелый бег по сухой, потрескавшейся земле. Крик “Ур-р-а!” из жаркого рта. Топот братских ног, бегущих рядом в атаку. Когда в голове нет ни одной мысли, кроме: “Вперед! Ур-р-а!” И когда кажется, что нет силы на свете, способной остановить, оборвать этот бег в атаку.

Оказалось, есть.



Не услышал Мурат визга той самой, “своей” пули, а только споткнулся вдруг, пробежал по инерции еще несколько шагов и остановился, не понимая, отчего все вокруг неожиданно стихло и замедлилось, и почему чужими, непослушными стали вдруг ноги. Мелькнула перед расширенными глазами разлапистая ветка, перевернулась и тихо закачалась, обвевая прохладой посеревшее лицо молодого бойца, рухнувшего к подножию тускло-зеленой от пыли елочки.

А потом, когда вернулось сознание, услышал Мурат чужую речь. Первая мысль обдала жаром: “Немцы!” А вторая сковала холодом: “Плен...”

...Какой стылый воздух в теплушке! Рукава шинели коротки, мерзнут большие кисти рук. Мурат прячет их в карманы и становится похожим на древнюю застывшую статую. Рядом неслышно, бестелесно сидит отец, смотрит молодыми усмешливыми глазами прямо в душу, улыбается добрыми глазами, шепчет сыну что-то успокаивающее. Дескать, хватит, не вспоминай. Плен – это плохо, это тяжело, но ведь все позади, ты уже не в плену, и война кончилась, и все образуется. Сожмись лучше в комок, так будет теплее, и постарайся уснуть.

Что кончилось, отец? Ничего не кончилось. Наоборот, начинается что-то совсем уж страшное, непонятное. Вот везут куда-то. Зачем? Почему?

Холодно. А там, дома, сейчас тепло и сыто. Уже цветет миндаль, щедро распространяя вокруг сладкий аромат. Как хочется домой, хоть на день, хоть на час! За войну Мурат так нахолодался в колючих российских снегах, что иногда даже плакал с непривычки, уткнувшись в рукава грубой, промерзшей шинели.

“Сколько лет было отцу, когда он умер? Двадцать пять. Надо же, как мне сейчас. Теперь мы ровесники, ата. Но в те годы у тебя уже были дом, земля, жена, сын. А у меня в мои двадцать пять нет ничего. Был бы у меня сейчас сын...”

Эта новая мысль поразила Мурата и неожиданно согрела. Сын. Какой он будет? И послушное воображение, привыкшее рисовать перед ним образ отца, тотчас помогло ему увидеть сына. Крохотного, черноголового, с распахнутыми горячими глазенками, с радостной улыбкой на маленьких губах, в короткой белой рубашонке, едва прикрывавшей смуглые крепенькие ягодички. Руки тянет, перебирает нетерпеливо босыми ножками в теплой пыли, лепечет тоненько: “Ата! Ата-джан!..”

Защипало в зажмуренных глазах, увлажнило ресницы. Слабым ты стал, Мурат, слезливым – нехорошо.

Рядом завозился кто-то, забормотал неразборчиво и тихо, протяжно простонал. Даже во сне переживают люди. Куда их всех увозят? За что?

Мурат так до сих пор толком и не понял, в чем его обвиняют. Молодой лейтенант из спецотдела, вонзаясь в Мурата уличающими холодными глазами, допрашивал его грубо и брезгливо. Они не понимали друг друга, а переводчика между ними не было. Хороший человек Сергей Рукавишников не многому успел научить Мурата Авазова, поэтому тот подбирал русские слова с трудом, волнуясь и тревожась, а быструю, резкую речь лейтенанта он от волнения и вовсе не постигал. Тот все про плен спрашивал – это Мурат понял. И как мог, пытался объяснить, что его ранили, когда он бежал в атаку отбивать высоту. Наверное, высоту не отбили, потому что он услышал рядом чужую немецкую речь только тогда, когда очнулся. И перед глазами качалась тускло-зеленая веточка.

Почему-то Мурат очень долго все пытался рассказать лейтенанту про эту веточку...

Его потом еще не раз допрашивали, дескать, как он посмел сдать врагам? Разве он не знал, что для советского солдата лучше смерть, чем плен? Когда до Мурата наконец дошло, в чем его обвиняют, он сначала растерялся. Разве он виноват, что его взяли раненого и беспомощного? Разве он виноват в том, что не успел прежде умереть? И разве от того, что попал в плен, он стал предателем? Да, в лагере было много предателей, которые за пайку черного хлеба продавали себя, своих друзей, свою родину. А он, Мурат, никого не предавал. В плену он жил молча, почти не разжимая губ. И он не издал ни звука, когда его били прикладами и плетками за то, что ночами он подкармливал своим хлебом и поил своей порцией воды больного русского майора, чьего имени даже не знал. Вот тот, который указал немцам на этого майора, и того сразу же уволок, предварительно избив Мурата, вот тот – да, предатель, это так. Позже он нашел свою смерть в лагере, и Мурат даже радовался этому, хотя никогда не был злым и мстительным.

И как же счастлив был Мурат, когда их, пленных, освободили русские! Вместе с другими, чудом выжившими в аду, он неуклюже плясал, плакал и смеялся, обнимал возбужденных, горячих от пота своих освободителей и орал: “Братка! Друг! Серожа!”

Тогда всех русских ребят Мурат называл одним родным и памятным русским именем “Серожа”, по имени Сергея Рукавишникова, друга и поэта...

А потом сумасшедшая эта радость померкла. Потому что начались допросы, угрозы, требования в чем-то признаться.

Смертная обида наглухо замкнула отмякшее было сердце, и Мурат перестал отвечать на вопросы. Ни слова не сказал он и тогда, когда друзья по несчастью объяснили ему: он наказан за то, что был в плену. Был в плену – значит, ты человек с туманом внутри, с клеймом на лбу.



Значит, нет тебе веры ни в чем. Значит, не имеешь ты права жить в своем теплом родном краю, а поезжай туда, где тебе будет плохо, где трещат морозы и воют метели – на Север. На лесоразработки.

Стучат колеса. Обжигающе дует в спину из какой-то щели. Все окружающие предметы расплываются перед глазами...

“Не надо плакать, сынок, – шепчет молодой отец Мурата, его ровесник. – Ты же мужчина, помни об этом. И на Севере живут люди. И правда все равно когда-нибудь победит. Надо верить. Не храни в душе зла на весь белый свет. Злость – она ведь сжигает душу, я это теперь хорошо знаю. А у тебя все еще впереди. Когда-нибудь ты станешь отцом...”

“Отцом? Я? Неужели это будет? Где же она, та, которая станет матерью моего сына? Какая она? И захочет ли она стать женой человека, у которого на лбу клеймо позора?”

2

Надийка Крапивная открыла плавающие в жару глаза. Перед ней качалась и зыбко меняла очертания густая серая мгла. Надийку колыхало и трясло из стороны в сторону, и она никак не могла понять, где она и что с ней. Потом вдруг разом все вспомнила и с тяжким стоном уронила голову на что-то твердое и жесткое. Господи, за что?!

Этот изнуряющий, лихорадочный жар треплет ее уже давно. Многие дни и недели провалами исчезли из памяти. И это хорошо. Лучше бы не помнить и всего остального.

Уборочная страда. С утра до ночи – в поле, где Надийка работает не разгибая одеревеневшей спины. Злой, как цепной пес, дядька Панас, бригадир, сорвал голос, погоняя их, молодых девок и старух. Они знают, понимают – надо, надо! – но силы иссякают. Голод сводит пустые животы. Сорок шестой, проклятый год! Хуже войны. Как жить, когда все пусто, все вымерло в душе? Одно подавай – работа, работа, работа. Тело покрыть нечем, ноги сбиты в кровь, желудок ссохся. Голова воспалена и уже ничего не соображает. Сухой мучительный кашель рвет слабую грудь.

– Шевелись! – скрипит в ушах настырный голос бригадира. – Ленишься, мать твою?! Смотри, Крапивная, на початок кукурузы не заработаешь!

– Да отчепысь ты от девки, – шелестит рядом голос бабки Одарки, высохшей, как осенний лист, – чи не бачишь, шо вона хвора?

Хвора, да. Надийка только сейчас понимает, что она действительно больна. Кашель отнимает последние силы. Капля за каплей уходят они в эту жадную землю.

– В больницу бы мне, – еле шевелит она спекшимися губами, – к доктору бы, в город...

– Сказывалась, чи шо?! Яки тоби дохтора? Якой город? А робить хто буде? От ведь, яки трухлявы дивки пишлы. Давай, давай, чухайся швидко!

И снова склонила Надийка покорную спину, белого света не видя сквозь пронзительно-оранжевые круги перед глазами.

Когда же, через сколько дней прорвался из души этот бунт?

Подняла однажды голову от грядки, выпрямилась, силясь глотнуть хоть каплю сухого воздуха. Подумала вяло: “А ведь помру скоро...”

И тут же отчаянная злость окатила волной жара, даже будто сил прибавилось. Да что же она, проклятая? Кем? За что? Подохнуть здесь, на грядке, в девятнадцать лет?

Подскочил Панас, затряс кудлатой головой, заскрипел что-то, а в ушах у Надийки сплошной писк, как нудный плач ребенка.

– Пропади ты пропадом, нечистая сила! – внятно и твердо произнесла Надийка. Повернулась и пошла прочь, шатаясь, как пьяная. Сгинуть бы той свадьбе, на которой так спаивают!

Остались в памяти жутковато застывшие облака в небе, колкая стерня под босыми ногами, когда шла, спотыкаясь, по дороге в город, и одна-единственная мысль колоколом билась в голове: “Только бы не упасть... Ведь не подняться будет”.

Десять километров до города. Как дошла, где свалилась – не знает. Потом – белый потолок, белые марлевые занавески на стеклянных дверях и добрый, как у мамы голос откуда-то сверху:

– Очнулась, девонька? На-ко, испей...”

И побежали, побежали по исхудавшим щекам первые слезы.

Две недели Надийка горела в бреду. Воспаленные легкие по крупичкам выдавали воздух. Но только встала на тряские, тряпичные ноги, – за ней пришли.

Быстро засудили. “За самовольный уход с работы...”

Голова еще слабой была, не поняла она до конца, что отныне ее судьба круто меняется.

– Дезертир трудового фронта, – сказали ей. – В то время, как весь народ встал на борьбу с разрухой, ты... А кто же будет восстанавливать страну? Кто будет людей кормить? Уйти в такое время с поля – это преступление.

– Так я ж чуть не померла на том поле, – еле разжалась ее губы. – Я ж не могла больше. Кому было бы легче, если я померла бы на тех грядках?

Никого из родных у Надийки не осталось. А были батько, мама, дед с бабушкой да девять сестер. Все сгнули, кто куда. Половину семьи голод скопил в страшном тридцать третьем. Половина сестер по свету ушли да и растворились в миру. Одна осталась Надийка после смерти деда, последнего, в пустой хате. А теперь и хату ту



заколотят. Не останется в родимой стороне никого из большой семьи Крапивных.

А слово “Север” Надийка тогда впервые в жизни услышала.

Ой, как плакала, как голосила она, когда вели их, таких же, как она, судимых, к черному страшному вагону! Весь день проплакала, забившись в угол, а к вечеру прежний жар навалился на слабое тело и снова стал терзать.

Вот открыла сейчас глаза и все вспомнила. Страх сковал душу: сколько же это они все едут и едут? Где ж этот Север проклятый, у черта на рогах, что ли?

Как жить, Господи, подскажи!

3

В глухой северной тайге на расчищенной от деревьев делянке стояли два барака – женский и мужской. В мужском жили “чучмеки”, как все называли ссыльных нерусских – узбеков, таджиков, туркменов. Это был шумный, неунывающий, загорелый народ, весь сплошь черноволосый, черноглазый, весь озорной и дерзкий. К девушкам пристаёт, насмешничает, лопочет что-то на своем чудном языке, и не поймешь его.

Правда, работали “чучмеки” хорошо, дружно, не лентяй. С утра брали на себя самый трудный участок, и до позднего вечера не стихали с их стороны визг пилы да стук топоров.

Зато по вечерам они вели себя бесшабашно: кружили, как вороны, возле девчат, шутили, смеялись, завлекали, угощали конфетами “подушечки” – редким лакомством. А девчата что? – хихикают.

Надя Крапивная – строгий бригадир женского барака – терпеть не могла девчачьего легкомыслия. Которые серьезные, так за тех она спокойна. Но есть и такие, что за кулек конфет да за шарфик газовый уже на шее парня готовы повиснуть. Не прочь они и прогуляться поздним вечером по опушке лесочка, пройтись там на виду у всех, а потом незаметно и раствориться в густой темени чащи...

Долго билась Надя Крапивная с подобными вредными явлениями. И ругала, и убеждала, и даже по щекам как-то отхлестала особенно распустившуюся бабенку – толку было мало. Тогда она решила объявить срочное собрание и поговорить с обеими сторонами начистоту. И в один из дней, когда осенний затяжной ливень отменил все работы в лесу, Надя собрала всю свою бригаду в чисто прибранной комнате барака и послала двух девушек за “чучмеками”.

Укрывшись одним прорезиненным плащом, те зашлепали по лужам голыми пятками – и пропали. Долго ждали их, девчонки уже стали двусмысленно переглядываться и хихикать.

Побледнев от негодования, Надя схватила с вешалки свой плащ, сунула ноги в кирзовые сапоги и сама побежала в мужской барак.

Мурат Авазов сидел на топчане и пришивал пуговицу к своей потрепанной гимнастерке, когда рывком отворилась намокшая от дождей, расхлябанная дверь, и на пороге встала худенькая девушка, закутанная в мокрый плащ. До этого он изредка поглядывал на двух смешливых девчонок, которые пришли звать “чучмеков” на собрание, да так и засиделись у них, перешучиваясь и звонко хохоча.

Мурат был до нелепости застенчив, и сотни раз ругал себя за это. Он стеснялся своего высоко роста, своих длинных рук, своих больших сапог, своего нерусского акцента. Как-то раз одна из белокурых разбитных бабенок в шутку назвала его “верзилушкой”, а он, мучительно покраснев, пробормотал обиженно: “Зачем ... лушка? Мы не лушка. Муратка мы зовемся...” и шквал женского хохота облил его еще более жгучей краской, обратил в поспешное бегство.

До чего же он неуклюжий и робкий! Будь он посмелее, сидел бы сейчас у печки с девчатами, пил бы с ними чай, смеялся и шутил, как другие. Жизнь-то идет. И молодость берет свое. Но не утихла еще в нем смертная обида, неизвестно кем нанесенная, и не дает она проявиться в нем простым человеческим радостям. Не верит он людям. Не любит их.

При виде неожиданно появившейся Нади Крапивной испуганно стихли провинившиеся дивчины, отчего-то смолкли самые бойкие парни. Гневные, потемневшие от возмущения глазищи, метнули синие молнии прямоком в душу Мурата, и она вдруг дернулась, ворохнулась испуганно и тоненько, непривычно-сладко заворковала...

Несколько мгновений девушка хлопала мокрыми ресницами, уставившись в растерянные глаза Мурата, потом у нее прорвался голос:

– Вы что же это, вредители, делаете, а? Особого приглашения ждете? А ну, собирайтесь на собрание, женихи поганые, иначе с каждого шкуру спущу! А с вас, курицы мокрохвостые, в первую очередь! Сидят, чай распивают, буржуйки голоштаные!

Крепкой на язык была бригадир Крапивная, побаивались ее, строгую до суровости, а тут вдруг расстроились так, что задрожало мелкой нервной дрожью все тощенькое тело, а громадные синие глаза так и полыхали пламенем. И когда из этого пламени уже готовы были брызнуть жгучие слезы бессилия, что-то вдруг сбросило Мурата с топчана. Отбросив гимнастерку и торопливо натягивая сапоги, он резко бросил парням на узбекском языке:

– Эй, кончайте! Давайте все на собрание! Не видите, что ли, девчонку до слез довели.

И все сразу забегали, засуетились, хватая сапоги, шинели, плащи, как будто только этого



сердитого возгласа и ждали. Перебежали под нескончаемым дождем в соседний барак, стали рассаживаться прямо на полу, по-восточному поджимая под себя ноги. Сначала женщины подняли кокетливый визг, но тут же притихли под взглядом бригадира, которая вошла последней.

Надя говорила горячо и долго.

– Стыдно за вас, ребята. Вы ж люди в первую очередь, а не кобели и не сучки. Мы все сосланные сюда, лагеря прошедшие, будто порченные. А чем мы хуже других? Вы воевали, мы работали. Но нам еще доказать надо, что мы не хуже и ни в чем плохом не грешны. Нельзя нам еще больше тени на себя бросать. Влюбляетесь – так женитесь на здоровье, никто вам этого не запрещает. Свадьбы давайте играть! А так, по кустам шастать... Гордость хоть поимейте.

После шумного собрания, затянувшегося допоздна, после горьких слез, оправданий, выкриков и смеха, длинный черноглазый узбек подошел к Наде, протянул смуглую руку и, отчаянно краснея, тихо сказал:

– Не сердитесь на меня... Хочу быть знакомым. Меня зовут Мурат Авазов. Не бойся меня, пожалуйста. Я никому тебя в обиду не дам. И сам не обижу...

4

Сначала Надя скрывала от всех свои встречи с Муратом. Больше всего на свете боялась, что люди поднимут ее на смех, дескать, грудью стояла на защите женской чести, а сама...

А что “сама”? Разве они делают что-то стыдное, встречаясь с Муратом? Да они даже не целовались ни разу! Нет, он не такой, как другие, даром, что “чучмек”. Он хороший.

Обычно после ужина Надя убегала из барака и тихонько пробиралась к небольшой полянке, спрятанной за вековыми елями. Там, среди увядших уже трав, стояли два березовых пенька, росших из одного корня. Кто-то спилил эти березки, оставив пеньки, похожие на удобные круглые стульчики, еще пахнущие свежей древесиной. Здесь и сидели Мурат и Надя, бывало подолгу не произнеся ни слова. Мурат отчаянно пытался подобрать трудные еще для него русские слова, но в такие мгновения из проклятой головы вылетало даже то небольшое, что он знал. А Надя сидела, покусывая травинку и удивлялась себе: “Матоньки мои, и чего сижу? Этот чурбан нерусский молчит, и я молчу. Как дураки какие...”

Но сидеть, привалившись к плечу этого сильного и тихого парня, было почему-то приятно.

Так они молчали много дней подряд.

А однажды пришли на полянку и увидели, что вся она утонула в первом снежном пуху. Изумленно оглядываясь вокруг, вдруг обрадовались, отыскав

глазами свои заветные березовые пенечки. Встали возле них, смеясь и отряхивая друг друга от кишасящего роя липких снежинок, и Надя впервые заметила, как сиротливо торчат из коротких рукавов шинели большие кисти рук Мурата, как зябкими мурашками покрылась смуглая шея в вороте гимнастерки, как заалели уши в черном ворохе волос.

– Замерз? – почему-то строго спросила она, а у самой вдруг сердце зашлось от незнакомого ощущения нежности к нему. – И то сказать, весь голый. Я тебе завтра свой шарф принесу, теплый, хоть шею согреешь. И рукавицы у нас где-то лежат лишние. Они большие, мужицкие, подойдут.

– Надира... – Мурат взял ее шершавые ладошки, и они утонули в его руках.

– Ну, чего? Чего? – шепотом сказал она, не смея поднять на него своих всегда бедовых, а сейчас вдруг оробевших глаз.

– Я не знаю, как сказать, но я... я...

У самого своего лица она увидела диковатые цыганистые глаза с выражением силы и смущенной нежности, и в эту же минуту случайно встретились их несмелые губы. А когда она впервые уткнулась лицом в жесткое сукно шинели на его груди, он зарылся лицом в ее русые волосы, рассыпавшиеся из-под платка, и зашептал горячо, торопливо как-то чудные, будто с другой планеты, слова на нерусском своем языке, и Надя жадно ловила их всем сердцем, и ей казалось, что она все-все понимает.

Через три месяца Мурат и Надя поженились.

К этому времени обе бригады уже прорубили делянку к поселку Таежному, перевыполнив все сроки.

Свадьбы посыпались градом.

И к этому времени Мурат и Надя получили свою свободу.

Два года – как тяжелый больной сон. У них не было своего дома, не было корней, не было семьи, не было будущего. С тем, что произошло в их судьбе, примирились, как с чем-то неправдоподобно-жутким, непонятным, но реальным. Два года их окружали такие же отверженные, как они. Разговоры, сетования, проклятия, плачи... Здесь у Мурата и Нади на многое открылись глаза: вины своей они так и не поняли, но зато впервые осознали, как несправедлив, чудовищно жесток, оказывается, может быть окружающий их мир. Попали они в какую-то страшную пучину, и закрутило их в человеческом водовороте, как беспомощные щепочки. Выживешь – живи, нет – уплывай.

Может, потому и удалось выжить, не сломавшись душой, что встретились и отогрели друг друга. И будто сразу прервалось одиночество среди таких же горьких судеб, и будто заново



зажегся фонарик в тягостной мгле, и они поняли – это берег.

В поселке Таежном для молодых лесорубов выделили заброшенную конюшню, и уже через неделю усилиями парней и девчат она была превращена во вполне приличный барак для семейных. Побелили стены и потолок, перекрыли заново полы, установили дощатые перегородки – жить можно!

В день свадьбы Мурата и Нади кладовщик, добродушно посмеиваясь, выдал им на складе новенькие ватные телогрейки и новые же черные валенки, и это был их свадебным нарядом. Вечером друзья притащили с собой пшена, селедки, сала, лука – и это был самый лучший в мире свадебный пир.

Оставшись одни, молодожены улеглись на две широкие доски, аккуратно выструганные Муратом и установленные на круглые чурбаки, укрылись походной шинелью – и это было самое чудесное из всех брачных лож, какие только существуют на свете.

Но даже теперь, когда Надийка Крапивная стала Надей Авазовой, Мурат еще долго не мог привыкнуть к этому чуду.

Впервые за долгие месяцы страшных испытаний и унижений украинская девушка и узбекский парень обрели свою крышу над головой. А угрюмый и неласковый Север стал их родиной. Близкой и теплой.

Бывает в жизни и так.

5

Уезжать им было некуда, дома их никто не ждал, и они решили остаться на Севере. Спустя полгода им, как лучшим лесорубам, выделили отдельную комнату в добротном теплом доме – отличную комнату с большой кухней и коридорчиком. Вот уж где ликовала молодая хозяйка! Все свободное время она хлопотала, украшая свое жилище. На отмытых до сияния окнах появились веселые занавески, на полу уютно разлеглись разноцветные половички, подоконники украсились цветами в горшочках.

Жизнь налаживалась, заработки стали приличными, в доме появились одежда, мебель, посуда.

Однажды вечером Мурат пришел с работы позже обычного – задержался на лесоперевалочной базе – устало шагнул на кухню, и на его шею тотчас повисла Надя.

– Наконец-то! Ты почему так поздно?

Он ласково обнял ее, маленькую, по-девчоночьи тоненькую, и вдруг она отшатнулась.

– Фу-у, как бензином от тебя пахнет! Иди мой руки сейчас же!

Мурат послушно направился к умывальнику, тщательно мылил почерневшие свои руки и, недоумевая, размышлял о неожиданной брезгливости жены. Стало даже немножко обидно: бензином пахнет... А чем же еще должно пахнуть от рабочего человека? Духами, что ли? Любой человек пахнет своей работой.

Он сел на кухне за стол, опустил крупную голову и стал катать по новенькой клеенке хлебный шарик. Неслышно подошла Надя, обняла его сзади, и Мурат с облегчением уткнулся лицом в ее теплые руки.

– Ты что, обиделся, Муратик? – воркотнула Надя. – Не надо, не обижайся. Я не хотела тебя обидеть, правда-правда. Просто я... Просто у меня...

– Плохое настроение?

– Нет, совсем не то. В общем, меня теперь всегда тошнит от всяких запахов. Вот и от бензина тоже.

– Почему тошнит? Заболела? Что-то плохое ела? Врача надо. Я сейчас схожу.

– Глупый ты, глупый, – вздохнула Надя, видя, что от этого большого ребенка не отделаешься намеками. – Ну, как ты не понимаешь, что иногда женщину тошнит, когда она... ну, не одна.

– Ничего не понятно, – нахмурился молодой муж. – Как это, тошнит, когда она не одна? А с кем же ее должно тошнить?

– Да, господи! С ребенком, вот с кем!

– С каким ребенком? При чем здесь ребенок, Надира?

И вдруг лицо его смешно вытянулось, губы растерянно дрогнули, глаза стали испуганными и круглыми.

– А-а-а... Да? Да, Надира? Или я опять что-то не так понял?

– Так, так, – покраснев до слез, засмеялась Надя. – Ох, если честно, мне до сих пор не верится, что скоро я буду мамой, что у нас будет...

– Сыы-ын! – заорал вдруг Мурат, вскакивая и нелепо размахивая руками. – Сын у меня будет! Ах, Надюша... как это надо говорить? Всю жизнь на руках носить тебя буду, если сын! Первый только сын, слышишь?

Надя смеялась, глядя на метавшегося по кухне Мурата, а в сердце вдруг вошла первая тревога: а что, если он не шутит? Вдруг ему и вправду нужен только сын? А если родится дочка?

А в Мурата будто бес вселился. Обычно сдержанный и немногословный, он с несвойственной ему болтливостью оповестил всех своих земляков-узбеков, что скоро его обожаемая Надира подарит ему сына. Грудь его раздувалась он непомерного счастья, когда друзья приходили к нему с поздравлениями. Он окружил Надю такой неистовой заботой, которая почти пугала ее.



– Да почему это я даже полы помыть не имею права? – бунтовала она. – Ты вообще уже с ума сходишь! Ну, где это видано? Если хочешь знать, мне вообще двигаться полезно.

– Вот и двигайся, – пыхтел Мурат из-под кровати, шуруя там мокрой тряпкой. – Иди гулять, дыши свежим воздухом, пока я делаю влажную уборку. Я читал, знаю, что сыну будет хорошо, если в комнате чаще делать влажную уборку. Но это должен делать я, а не ты.

– Да-а, можно подумать, у вас, там, в кишлаке, все отцы такие умные, как ты. Там, небось, женщины все сами делают.

– Это так, – согласился Мурат, вылезая из-под кровати. – В доме с утра до ночи трудится одна женщина. Даже когда она ждет ребенка. А потом случается так, что ребенок умирает в ней... Тьфу, тьфу, тьфу! – трижды поплевал он за ворот своей рубашки, чтобы не накликал беды. – И ты, Надя, со мной не спорь. Я не буду делать так, как делали наши деды. Они просто этого не понимали. А я понимаю, и потому хочу сберечь нашего сына.

– Да-а-а... – плаксиво тянула Надя, и глаза ее заплывали слезами. – Ты вот все сын да сын... А вдруг дочка? Тогда ты разлюбишь меня, что ли?

Мурат молча возвращался к своим делам, и это его молчание еще больше пугало ее.

Он и действительно в эти дни будто слегка помешался. Уходил в сарайчик во дворе, занимался чем-нибудь, а сам все отца к себе подзывал, и шептался, шептался с ним.

– Теперь я сам скоро отцом буду! – хвастался ему Мурат. – Дом у меня есть. Надя есть. Теперь бы только сына дожидаться. Ты правду мне тогда, в вагоне, говорил, ата, когда я совсем несчастный был... Будет у меня семья. Авазовы.

И поражался своим мыслям. Вот как чудно устроено в жизни. Там, в далеком Узбекистане, жила когда-то семья Авазовых – муж, жена, сын. Беды скосили мужа и жену. Остался сын. Беда гонялась и за ним, преследовала, казнила, морила. Но он остался жить. Отрастил корень на другом конце земли, на Севере. И снова возродилась семья Авазовых: муж, жена, сын...

Все повторяется в жизни. Люди не уходят бесследно.

– И я не уйду совсем, – шептал Мурат отцу. – После меня сын останется, потом он меня звать будет, и я стану приходить из его памяти, как ты ко мне, ата. Потому что сыновьям отец нужен всегда. Ты не успел меня вырастить, а я своего сына должен поднять на ноги, жизни научить. Он у нас хорошим будет, добрым, умным. И красивым, как Надя. Ты будешь гордиться своим внуком, ата.

А Надя каждую ночь неистово и отчаянно молилась Богу, которого когда-то отвергла с горячностью юной комсомолки. Отбивала

бесчисленные поклоны и просила, просила, чтобы “Бог послал сына”. С каждым месяцем росла тревога, и Надя со страхом ждала появления на свет маленького существа, который решит всю ее дальнейшую судьбу.

– Да не переживай ты так, Надюша, – уговаривала закадычная подружка Фрося, и миловидное веснушчатое остроносенькое лицо ее заливалось горделивой краской. – Мой-то такой же отчаянный, чай, одна у них кровушка, нерусская. Тоже все сына с меня требовал. А я что? – пожалуйста! Вот он, моя крохотка... – и любовно склонялась над черноголовым лобастеньким малышом с горячими, как угольки, глазами. – И еще нарожаю, сколь муженек захочет. И все сынов! У них, у узбеков, поверье такое есть: коль жена мужа любит, первого обязательно сына принесет. Ты ж любишь своего Мурата, значит, непременно жди сынишку.

Если это правда, думала Надя, то так и будет. Не может быть иначе, не должно. Но вдруг?

6

За несколько дней до родов Мурат решил оставить Надю на попечение друзей и уехал в Москву. Время в Таежном было еще не очень сытное, многие ездили за хорошими продуктами в столицу, разве мог он не сделать того же? Когда Мурат, слегка ошалевший от шумной громадной Москвы вернулся с двумя тяжеленными сумками, друзья обрадовались и колбасе, и сыру, и копченой рыбе, и белой муке, маслу, шоколадным конфетам. Но, угостив друзей, Мурат убрал сумки подальше, смущенно пояснив при этом:

– Все. Одна сумка – для того, кто первым сообщит мне, что родился сын.

– Суюнчи? – догадался один из друзей. – Ишь ты, наши законы помнишь. А я вот, ишак, забыл про это. Ты хорошо сделал.

– Да, суюнчи – это подарок человеку за радостную весть. А вторая сумка – для Нади. Домой с сыном придет, ей хорошо кушать надо, чтобы сына кормить и самой поправляться.

Но вот Мурат отвел жену в роддом и, побледнев так, что его смуглая кожа стала серой, обнял ее на пороге.

– Ну, Надюша, иди. Я здесь буду, никуда не уйду. Только ты ничего не бойся. Держись крепко, душа моя. Ты помни, что я рядом.

Жену увели, а он, шумно выдохнув, прочно обосновался у двери приемного покоя. Как ни доказывали ему, что роды еще не наступили, пусть он идет пока домой, – Мурат не уходил. Сидел на корточках у двери, рядом со своей сумкой и неподвижными глазами смотрел перед собой. Не ушел он и на ночь, а на все упреки нянечек и медсестер степенно и рассудительно говорил:



– Зачем кричишь? Милицию вызывать будешь? Зачем? Я тихо сижу, никому не мешаю. Сейчас свой пальто стелю и спать буду. Как скажешь, что сын родился, сразу проснусь, обрадуюсь и сумку тебе отдам. Вкусная сумка. Хороший суюнчи будет.

Надя мучилась долго. Не родила она и на второй день. Мурат за это время осунулся, почернел, зарос синевато-черной щетиной. Взгляд его стал тоскливым и затравленным. Он провожал этим взглядом каждого входящего и уходящего, но никого ни о чем не спрашивал. Ночью к нему приходили то дежурная сестра, то нянечка, жалеючи, поили его чаем, насильно кормили оставшейся от ужина кашей.

– Шел бы ты, Ибрагим, домой, – вздыхая, говорила ему баба Поля, старушка-санитарка, всех нерусских называвшая “Ибрагимами”. – Умылся бы, побрился, отоспался, как следоват. А потом бы снова сюда прибег. Ить на тебя смотреть-то страшно, чисто сатана, прости господи. Черный, худой, оброс, как разбойник, только ножик в руку, ну, абрек и абрек, так глазищами и гвоздаешь. А чего тут тебе сидеть? Наденка-то твоя мается, сердешная, не приведи господь, а чем ты ей в помощь? Шел бы ты домой, а? На работе-то, поди, грызьмя грызут?

– Зачем грызть? – тихо отвечал Мурат. – Не надо грызть. Я отпуск взял, чтобы жену и сына встретить и дома за ними ухаживать. А они все не идут и не идут... – голос его сорвался до сипа. – Плохо, говоришь, Наде? А... не помрет она? – и сжались до хруста зубы.

– Что ты, господь с тобой! – испуганно замахала руками старушка. – Врачи рази дадут помереть? К вечеру должна разродиться.

Но и к вечеру Надя не родила. Бегали, суетились по больничному коридору врачи и медсестры, но ничего утешительного Мурату не говорили. И он никого ни о чем не спрашивал, только сжалось и на мгновение останавливалось всякий раз сердце, когда кто-нибудь приближался к нему, и с облегчением отпускало, когда от него отходили. Он все время молчал. Сидел в своем углу на корточках и чернел, чернел лицом...

И лишь на третий день, когда ранние зимние сумерки затенили все уголки в приемном покое, где-то внутри больницы послышались оживленные голоса и смех. У Мурата оборвалось сердце. Он медленно поднялся на затекшие ноги и прислонился спиной к стене. По коридору, отталкивая друг друга, бежали молоденькая медсестра и санитарка, а впереди них споро семенила баба Поля. Она первой влетела в приемный покой и, задыхаясь, выпалила:

– Ну, Ибрагим, пробил твой час! Давай скорее мне твою сунчу! Все ж таки я первая прибегла, условие твое соблюла. Сумку, говорю, давай! С сыном тебя, батюшко!

Разом ослабело все в груди, совсем отказали ноги. Мурат отвернулся к стене, закрыл голову руками и, не в силах больше сдерживать себя, тяжело заплакал, стыдясь своих слез и давясь рыданиями. Зашмыгали носами обступившие его женщины, гладили, как маленького, по спине, по плечам, а баба Поля, щедро обливаясь слезами, трещала, как сорока:

– А сердечный ты мой голубь! А намучился ты не меньше своей женки! Ну, будет, будет, Ибрагимушко, все ладно, все хорошо. Наденка здорова, слава тебе, господи. Улыбается теперь, а сама плачет, сердешная, все чего-то никак ей не верится, что сынок у ее родился. По сколь разов заставляла нас проверить, не ошиблись ли мы часом. А чего проверять-то, коль вся проверка на ладони! А мальчонка у вас чисто головешка – черненький да кудреватый. Уж такой ладненький, горластый!..

Мурат несколько раз прерывисто вздохнул, обернулся, схватил на руки оробевшую бабуся и подбросил ее вверх. Завизжали от восторга сестрички. Бережно поставил он бабу Полю на пол и протянул ей увесистую сумку с продуктами.

– Тебе, бабушка, суюнчи от чистого сердца за такую весть.

– Да полно тебе, – застыдилась баба Поля, поправляя на голове белый платочек. – Я ведь это шутейно. Куды мне столько? Ить это расходы какие шамашедшие. Оставь, Наденке пригодится, поди...

– Нет, для Нади все есть. Я для нее еще больше привезу. А это тебе. Если для одной много, поделись вон с сестричками. Они тоже прибежали радость мне принести.

– Ну, спаси ты Христос, коли так, – встав на цыпочки, баба Поля дотянулась до щетинистой щеки Мурата и звонко чмокнула в нее. – Тады мы с бабами и съедим твою сунчу за доброе здоровье младенца... Как назовешь-то его? Небось, како-нито бусурманское имя ему дашь?

– Туракул его будут звать, – обернулся Мурат от двери, и усталое лицо его с глубоко ввалившимися глазами осветилось счастливой улыбкой. – Тура-джан. Так деда его звали.

7

Рослый черноволосый и бровастый парень медленно шел широкой утоптанной тропой по густо населенному кладбищу. Отовсюду с фотографий смотрели на него уже знакомые ему лица, глаза, улыбки. Тихо на кладбище, а чужие глаза и улыбки живут, переговариваются между собой. Глядят вслед молодому парню и будто вздыхают тайком: счастливчик кто-то из соседей, к нему пришли...

Подойдя к аккуратному светлому надгробью, парень постоял молча, двигая желваками на крепких смуглых скулах, потом тяжело сел на низкую



скамеечку, совсем скрывшись под щедролистной черемухой. Но твердое лицо его, на ярко-черные, с печалинкой глаза, на юношески оттопыренные губы легла ажурная черемуховая тень.

“Завтра я женюсь, ата. Ты ее знаешь, это Светлана. Помнишь, она прибежала к нам после экзамена в десятом классе, плакала, топала ногой и кричала, что мне неправильно поставили тройку по английскому. А ты тогда улыбнулся довольно, потом увел меня на кухню и сказал, что эта девочка будет для меня хорошей женой. Наверное, ты был прав, отец. Смешно, но она до сих пор ненавидит ту учительницу, что вlepила мне тройку по английскому... А за маму ты не волнуйся. Правда, она очень постарела с тех пор, как ты... Тихая стала, а помнишь, какой всегда была неугомонной? Недавно она рассказала нам со Светкой про ваши березовые пенечки. Я, правда, ничего не понял, а расспрашивать постеснялся, зато сентиментальная Светка отчего-то разревелась и кинулась обнимать маму. Они потом с ней долго шептались... Как ты мне нужен, отец, если бы ты знал! Это, наверное, тоже глупо и сентиментально, что я вот так прихожу поговорить к тебе. Но я так привык, что ты всю жизнь был рядом со мной, а теперь, когда тебя

нет... Я знаю, что ты все время переживал из-за того, что я расту один, что нет у меня ни брата, ни сестры, что мама долго болела после того, как меня родила. Она говорит, что ты мечтал иметь много детей, но больше мама уже не могла родить. Ничего, отец, может у нас со Светкой будут детишки. Я тоже мечтаю о сыне. Первым – обязательно сын, а потом хоть пять дочек подряд! Узбекская семья Авазовых крепко пустила корни на северной земле. Теперь это наша родина, потому что тут мама, тут ты. Не оскудеет твой род, ата. Ты будь спокоен. И маму никто никогда не обидит, пока я жив. Пусть бы только она подольше была с нами. Я боюсь за нее – у нее ведь тоже такое же большое сердце, как у тебя.

Где, на каких дорогах вы надорвали свои сердца, наши отцы-матери? Вы не любили рассказывать о себе, но теперь-то мы уже знаем, какими страшными были годы вашей молодости. А мы росли беспечными и довольными, и не догадывались о том горьком, что вам довелось пережить. Зачем вы скрывали это от нас? Чего боялись? От чего нас оберегали?

Ну, ладно, пойду я. Завтра у нас свадьба, и мы все вместе заедем к тебе. Ты жди”.

РОСИНКА

(рассказ-воспоминание)

Шестилетняя девочка вышла ранним летним утром на крыльцо своего дома. На ней легкое зеленое, в мелкий цветочек, платьице, перехваченное в поясе широким кушачком. Короткие, пышные рукава-фонарики открывали крепенькие смуглые руки, которыми она озабоченно поправляла свои толстые коски густых темно-коричневых волос, уже изрядно выжженных на висках и на лбу летним солнышком.

Босыми ногами девочка чувствует тепло нагретых солнцем досок крылечка, жадно, как зверек, вдыхает утренний воздух, пахнущий привычной, родной смесью самых разнообразных запахов: травы, цветов, нежной хвои лиственницы, росшей посреди их двора, речной свежести (неспешная речка Ижма течет в двух шагах от их огорода), разогретых теплом бревен, что штабелями сложены за забором, ароматного сена, увядающего и подсыхающего в ожидании стогования...

Крепкие ножки девочки нетерпеливо переступают, уже готовые нести ее туда, в огород, в сад, где всегда так интересно, так красиво, так заманчиво и таинственно. Именно там – ее

любимое, “медом мазанное”, как говорит мама, место. Именно там ее первый мир открытий, наблюдений, знакомств и детских восторгов. Предвкушая новые радости, полная любопытства и ожидания, девочка тихонько открывает калитку, приделанную в заборе, огораживающем внутренний двор, и выходит в этот мир...

То вприпрыжку, то неспешно обходит девочка свои владения. Она сует свой носик во все уголки, обходит все тропки и закоулки так методично и последовательно, что нет никаких сомнений в том, что именно она – хозяйка всего этого мира. Сначала ее пестрое платьице долго мелькает среди огородных грядок, где девочка рыщет в поисках еще тоненькой оранжевой морковки. Легко и привычно выдергивает она морковку из мягкой разогретой земли, счищает с нее ладошками песок и отгрызает первый, самый сладкий кусочек. Затем, хрустя морковкой, девочка обеими руками раздвинула густые, переплетенные между собой усики гороха, и стала отыскивать молодые светло-зеленые, еще мягонькие стручки. Привычно вскрывая их, она подносила к губам эти стручки и



ссыпала в рот сладкие, мягкие горошинки. Затем, энергично жуя морковку вместе с горохом, девочка с головой ныряла в густой малинник, и, сидя там на корточках, как в зеленом тенистом, прохладном шатре, что-то радостно пришептывая про себя, девочка искала и отрывала крупные, налитые, будто посеребренные морозцем, ягоды малины и благоговейно проглатывала их, такие тяжелые, душистые, странно прохладные, и такие сладкие, что ни конфет, ни шоколада, ни других каких сладостей и вовек не надо!

Но долго сидеть в шатре малинника девочке было недосуг. Да и по правде сказать, ее не прельщало соседство огромного множества крохотных, но довольно-таки противных на вид, зелененьких мошек, облепивших ветви малины. А когда ей прямо на коленку откуда-то сверху свалилась толстая, пушистая зеленая гусеница, девочка заполошно стряхнула ее и, стараясь не смотреть в ту сторону, куда отлетела гусеница, торопливо, задом выползла из малинника на божий свет, отряхнула платье, поправила коски и пошла дальше, попутно лакомясь дарами своего хозяйства: лучком, редиской, репкой, щавелем.

Потом девочка обежала длинные ряды картофеля, опоясывающие по периметру весь огород, побродила по небольшой полянке с цветущим клевером и, презрев строгий отцовский наказ не топтать клевер, так как он высажен для корма лошади, один только разочек все-таки пробежалась босыми ногами по холодноватым даже в жару, ароматным бело-розовым “кашкам” – о-о, какой же это восторг!

Внезапно вспомнив, что не пила еще утренней росы и пугаясь, что уже опоздала, девочка опрометью бросилась в балку – неглубокий овражек, спрятавшийся у подножия группки молодых березок. Здесь всегда было сумрачно, сыро и тихо. Здесь встречались девочке то махонький пестрый лягушонок, то лилово-розовый толстый дождевой червь, а уж мошкары здесь всегда видимо-невидимо! Но зато тут, в балке, рос душистый багульник, чьи веточки мама заваривала, чтобы лечить всех от кашля. И еще здесь росла фиалка, и девочке очень нравились эти нежные, благоухающие сладкой свежестью темно-голубые цветы на тонких ножках, и это слово “фиалка”.

Но самым примечательным в этом овражке было то, что по утрам в каких-то трехлистных чашечках цветущей травы собиралась настоящая живая роса. Отец объяснял девочке что-то про туман от речки, который превращается в пар, затем опускается на землю и снова превращается в капельки воды. Эта водичка и есть роса – самая полезная для всех людей в мире. Потому что она – живая. И если утром, говорил папа, пораньше встать, прибежать сюда в овражек, осторожненько

сорвать чашечку, полную росы, поднести к губам, стараясь не пролить ее по пути и выпить, то будешь сильным, здоровым и умным. О, сколько же капелек, дрожа, вытекало из хрупких листочков, пока девочка, наконец, не научилась пить из них росу! Сколько слез обиды и досады было пролито! Но ничего слаще этих крохотных глоточков утренней росы девочка не знала, да и потом – кому же не хочется побыстрее стать здоровым, сильным и умным?

И вот она, торопясь и оскальзываясь на еще влажной траве, ойкая от острых камешков и колючек, на которые наступали ее босые ступни, подбежала к овражку, торопливо скатилась вниз и огляделась.

Еле слышно журчал ручеек на дне овражка, перекатывая маленькие круглые камешки. Запорхала испугнутая мошкара. Здесь острее пахнет болотистой гнильцой, влажной травой и почему-то свежим огурцом.

Глаза девочки жадно шарят по траве, отыскивая знакомые трехлистные чашечки, но, увы, они уже пусты. Это означало, что она опоздала: тепло солнечных лучей проникло сюда, в балку, и выпило, высушило всю росу.

Огорченная девочка, ругая себя за то, что увлеклась малиной и упустила короткое время утренней росы, бурча себе под нос нелестные отзывы о своем обжорстве, стала подниматься вверх из овражка. И вдруг – о, чудо! – у самого подножия первой молодой березки, в густой изумрудной траве она увидела круглую зеленую чашечку, полную целительной влаги. Глаза девочки радостно расширились, она тихонько взвизгнула, плюхнулась коленками в траву и осторожно, почти лежа на животе, потянулась к чашечке. Закусив от нешуточного напряжения нижнюю губу, почти не дыша, девочка нащупала хрупкую ножку растения, бережно оторвала ее и медленно-медленно, не сводя глаз с дрожащей, искрящейся на солнце капельки росы, поднесла чашечку к губам и благоговейно выпила драгоценную влагу. Что такое один крохотный глоточек капельки росы? Но девочка почувствовала, как эта капелька сладким холодком скользнула в горло и растеклась по груди невыразимым ощущением свежего, живительного блаженства...

Облизываясь, девочка поднялась с колен, на всякий случай поискала глазами в траве еще, но не нашла больше росы. Она удовлетворенно хлопнула себя обеими ладонками по животу и засмеялась, счастливая. Надо же – успела! Последнюю капельку росы успела хлюпнуть! Завтра надо встать пораньше и первым делом прибежать сюда, когда вся-вся трава в овражке густо усеяна крупными сверкающими каплями-росинками. Когда под



утренними лучами солнца весь этот овражек сияет и искрится от росы, как бриллиантовый...

Она напьется ее досыта, этой живой росы. И тогда непременно вырастет большой, сильной,

здоровой, умной и красивой. Так говорил папа. А ему девочка верила, потому что он никогда не обманывал ее.

МОТЫЛЕК

Очень жарко сегодня. Отец на работе. Мама в летней кухне готовит обед. Девочка крутится здесь же. Она с интересом смотрит, как мама сыплет сахар в ягодный компот и озабоченно хмурит свой смуглый гладкий лобик.

– Ох, я бестолковая! – засуетилась вдруг девочка. – Я же сегодня еще не кормила муравьишек. Мама, насыпь мне скорее сахару в чашечку!

Мама уже знает, что ее дочка частенько носит лакомства в огромный муравейник в саду: то кусочек сахара, то варенье в бутылочных пробках, то конфетку. Муравьи любят сладкое, и девочка хорошо их понимает. Поэтому мама без лишних слов зачерпывает сахар из банки алой пластмассовой пробкой и подает ее девочке.

Девочка торопливо бежит по тропинке среди густой травы, петляющей между берез и осин. Тропинка выводит ее к старой березе, к подножию которой прилепился огромный, девочке по пояс, густонаселенный муравейник. Осторожно ступая ногами, предусмотрительно обутыми в сандалии, она подходит совсем близко к муравьиному дому и некоторое время стоит, склонившись над ним и наблюдая за бесконечной работой маленьких суетливых черненьких муравьишек.

Девочка знает, что муравьи кусаются, но она не боится их. Папа много рассказывал ей про муравьев, что они полезные, умные и очень трудолюбивые. Они все время строят и строят свой дом, берегут его от врагов и охраняют днем и ночью. Внутри этого дома – множество комнат, ходов и кладовок. Там лежат куколки – яички, в которых подрастают муравьиные детки, и взрослые муравьи ухаживают за ними и стерегут их, чтобы тех никто не обидел.

Все это очень нравится девочке, и она чем может помогает муравьям. Подкармливает их, подбрасывает им в качестве строительного материала разные палочки, хвоинки и прутики. И уж конечно, старается не наступать на них ногами.

Вот и сейчас, вдоволь насмотревшись на муравьиную работу, девочка легонько хлопнула ладошкой по муравейнику – подала им условный знак. И тотчас муравьиный дом ожил. Поднялась суета, обитатели дома забегали быстрее,

замельтешились. Некоторые из них поднимались на задние лапки и шевелили усиками так выразительно, будто хотели сказать:

“Стой! Ты кто? Не смей приближаться к нам! Мы стоим на страже и дадим отпор любому!”

Улыбаясь, девочка посыпала немного сахару на поверхность муравейника – что тут началось! Он весь пришел в движение, откуда-то из его недр повылезали целые полчища муравьиного народа, жадно хватающего белые сахарные крупинки. Ох, и сладкоежки!

Девочка высыпала им весь сахар, еще немного полюбовалась муравьиным пиршеством, спрятала красивую пробочку в кармашек платья и пошла на свою любимую полянку, которую прозвала “лютиковкой”, потому что здесь в великом множестве росли маслянисто-золотые лютики.

Крохотные, ярко-желтые, сияющие глянец головки лютиков приветливо кланялись девочке, бархатисто дотрагиваясь до ее ног. А она склонялась к ним, гладила загорелыми ладошками их гладкие шапочки и мурлыкала им что-то ласковое до тех пор, пока из-под ее руки не выпорхнул голубой мотылек. Девочка радостно взвизгнула, хотела ухватить его, но мотылек ловко увернулся и невесомо заплясал у самого ее лица. Она отмахнулась от него, и он заиграл, запорхал, уводя девочку за собой.

Она даже запыхалась, гоняясь за мотыльком. Спотыкалась, падала, снова вскакивала на ноги и бегала за ним по всему саду. Растопырив ладошки, звонко хлопала ими, пытаясь поймать и поближе рассмотреть игривого мотылька. Наконец изловчилась и поймала, крепко зажав в ладошках. Засмеялась, очень довольная и собой, и им, осторожно разжала ладони, чтобы посмотреть на него и...

Сначала девочка ничего не поняла. Несколько мгновений озадаченно разглядывала два голубеньких крылышка, которые остались на обеих ее ладошках. Странно, был один мотылек, а стало их два. Почему? Крылышки не двигались, и девочке вдруг стало страшно. Она молча хлопала ресницами, поднося ладошки к самым глазам, дула на крылышки, осторожно трогала их кончиком



пальца до тех пор, пока один из них не сорвался и стал медленно падать в траву. Упал и остался лежать, как маленький голубой листочек...

В сердце девочки вдруг что-то оборвалось. Уставясь на уцелевшее крылышко, приклеенное к ладони, она закричала так пронзительно, что ей тотчас тревожно откликнулся мамин голос, спрашивающий, что там случилось?

Но девочка больше ничего не слышала. Вся сотрясаясь от рыданий, она громко, взхлеб плакала. Померк сияющий летний день. Тяжкое и непонятное горе обрушилось на девочку, придавив ее, сломив, сокрушив. Впервые в жизни она постигла смысл смерти живого существа – веселого, голубенького мотылька, который так доверчиво играл с ней! И она, девочка, нечаянно погубила его,

и он теперь никогда не сможет больше жить, летать, играть...

Подбежавшая мама обхватила девочку руками, затормошила ее, а когда та, заходясь от слез, протянула ей свою ладонь с мотыльковым крылышком, мама все поняла без слов. Крепко прижав к себе дрожащее тельце дочки, мама зашептала ей на ушко ласковые, успокаивающие слова, но девочка их не слышала. Уткнувшись в мамину грудь, она горько оплакивала короткую мотыльковую жизнь и еще что-то неясное, сокрушительно-тяжелое, что впервые вошло в ее сердечко. Она еще не знала, что это было простым и естественным знакомством с миром, с жизнью и смертью, с сутью своей человеческой. И что именно с этого дня, с этого момента началось ее взросление...



Алексей МИЛЬКОВ

ПИСАТЕЛИ ХОТЯТ ЗАНЯТЬ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО.

Современное состояние литературного и издательского процесса в Республике Коми обманчиво. Кто-то из писателей печатается, а большинство не печатаются.

Каково состояние в других субъектах Федерации? Привожу ссылки из “Литературной газеты”.

“Администрация Тюменской области приняла решение финансировать выпуск детской, художественной и краеведческой литературы для бесплатного распространения по школам и библиотекам”.

“В Тамбовской области расходы на книгоиздание выделены в областном бюджете в отдельную строку. Создается издательский центр, которому передаются все вопросы выпуска социально значимой литературы с последующей ее реализацией преимущественно через государственные книжные магазины”.

“Тольятти медленно, но уверенно становится литературным центром России. Кажется, что тольяттинские литераторы не шутя решили бросить вызов другой монополии собственного же города – автомобильной. К многочисленным альманахам, журналам и сборникам увесисто прибавляются книги отдельных авторов... лишний раз подтверждая намерение тольяттинцев поднять уровень собственной литературы на новую высоту”.

А чем мы можем порадоваться в нашей Республике?

Остановимся на литературном процессе, видимом разве что под микроскопом. Он должен быть сравнимым с любым видом деятельности, где развитие размашисто идет нормальным путем. Не зря в футболе существуют детские школы, по старшинству классы “Б”, “А”, “Высшая лига”, при командах дублирующие составы. Это то самое, когда нельзя выбросить ни одно звено, чтобы не

разрушилось всё в целом. Это монолитная машина, единый комплекс.

Как же выглядит наша машина, то есть литературный процесс в Республике? Прежде всего, отсутствует концепция (как национальная идея) литературы. Что это такое? Это глубокое осознание высоких чиновников того, что интеллектуальная собственность, созданная на Коми земле, не имеет права пропасть, уйти в небытие. В то же время это не значит, что надо открыть все шлюзы для серости, графоманства, но давать дорогу настоящим писателям необходимо. Здесь бы присмотреться к слову “настоящий”. Это автор, произведения которого прошли положительную экспертизу у критиков-экспертов, а, следовательно, они, получившие пропускной бал, должны, просто обязаны быть напечатаны. Дело чести перед историей и потомками.

Все боятся, что пойдет “вал”. Но для того и Союз Писателей Коми, чтобы его остановить компетентным, цивилизованным путем. В данном случае, необходимо Союзу писателей определиться критерием настоящего автора и настоящего произведения, и вести борьбу с обманными и проходными произведениями, которым тоже характерны и добротность, и даже мастерство.

Итак, чего у нас не хватает в Республике:

1. Нет объединяющего авторов печатного органа. Им может стать чисто литературно-критический, на первых порах безгонорарный журнал (многие авторы согласятся на это условие, поскольку в республике практически нет писателей, живущих за счет своих произведений, а в столе у многих вплоть до романов). Опять же это дело чести Республики. Принцип журнала – дешевизна и максимальная плотность материалов (применяя малые шрифты и используя всю полезную площадь, а по архитектуре – подобный реферативному). Тираж из многих



соображений – 500 экз., идущих в школы, библиотеки, по подписке. Удивительно, но он может оказаться окупаемым из-за своей привлекательности для населения, что позволит выплачивать гонорары и содержать редакторов. Количество номеров в год – 4-6. Обязательное условие – наличие статей объемом 10% (проблема у критиков и литературоведов, где печататься, не меньше). Это интервью, мемуары, эссе, монографии и т.д. Литература должна развиваться во всех направлениях. Называться он может, чтобы обратить на себя внимание, “Литературный реферативный журнал” с девизом на обложке “Служит защитой для интеллектуальной собственности писателей Республики Коми”. Отказываться надо от винегрета в журнале – каждый номер должен отдаваться одному (одному) автору (исключение – тематические номера). Произведения, попавшие на его страницы, как бы приобретают товарный знак.

Редакционная коллегия? Само отделение Союза писателей Коми. Их это если и загрузит, то не очень. Тем более, материалы принимаются в электронном виде. Возникшая обратная связь между Союзом и писателями только укрепит отношения и вольется свежая кровь в обе стороны. Союз еще больше станет объединяющим началом. Существующие журналы, сборники и альманахи решают больше местные или локальные задачи, или, наоборот, всеохватные (а, значит, неохватные), или вообще непонятно какие. Они разнобойны, не серийны, поэтому быстро теряются в фондах и головах. Серийный “Реферативный журнал”, что называется, приведет порядок в доме, все расставит по своим местам, он не будет конкурировать с другими – у него свои задачи. Не будет формалистики, подобной сейчас (“опубликовать не можем из-за отсутствия возможностей”), и, соответственно, не будет униженно-просящих писателей, взывающих к разуму и милосердию.

При этом редакция должна быть нейтральным лицом, для которой все жанры, направления равны, нет неудобных писателей, которая не стоит перед выбором, что важнее – новое имя в литературе или новое слово.

Журнал создаст условия многоступенчатости: газета – журнал – книга, необходимые для совершенствования писателей.

Журнал окажется тем большим движущим механизмом, который раскрутит невидимые животворные маховики нашей жизни.

2. Отсутствует механизм критики. Больших рецензий (из-за их претенциозности и не раскрывающих суть) писать сегодня не обязательно, но ответ на специальном бланке в одну страничку необходим. В бланке предусмотрены пункты. Десять

пунктов об образности, сюжете, идее произведения, новизне и т.д. достаточно, чтобы автор получил исчерпывающую информацию о своем произведении. (Например, пункт “процент технического брака”. Запись эксперта – “5%”. В конце резюме, например: “Ваше произведение не той степени готовности, чтобы его можно было опубликовать, ввиду: первое...”). Наглядность критики, ее документированность приведут к более честному и ответственному отношению обе заинтересованные стороны.

3. Ненормально с литературными премиями – их должно быть много и по разным номинациям. Сегодня их совсем нет ни ежегодных, ни в пять лет, ни под разными названиями. Организаторы всевозможных премий в России и в мире давно поняли, что лучше всего премию разбивать на множество номинаций. Даже Нобелевская премия разрослась. Премии органично вписываются в жизнь, в процесс, в рекламу, в производство, в шоу-бизнес.

Ясно одно, что в Республике всегда найдутся шедевры (произведения, циклы, подборки), подпадающие под какую-нибудь номинацию. Произведения-номинанты и писатели станут той величиной, тем показателем, таким раздражителем, к которым будут стремиться.

4. Мало литературных конкурсов – только таким образом можно устроить ристалище для молодых и столкнуть их лбами с заявившими себя писателями. Но не так, как получилось с конкурсом юмора, проведенным Министерством культуры Республики в 2003-м году. Мною были посланы распечатанные и на дискете произведения. Похоже, конкурс утонул в формалистике, потому что никто не знает о его итогах. Но ведь завершение конкурса – это дело чести.

Пока писатели живут по старинке, но с надеждой на перемены.

Хочу обратить внимание на свою статью. “Реферативный журнал” насущная потребность нашего времени, возможно, первый на всем постсоветском пространстве. Нарисованная перспективная картина литературной деятельности ждет осмысления в литературных кругах Республики, которую, возможно, правительство и другие структуры пожелают поддержать и дать ход новациям во имя истории и развития.

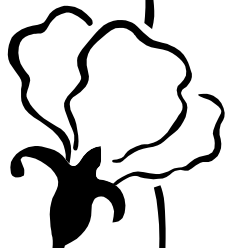
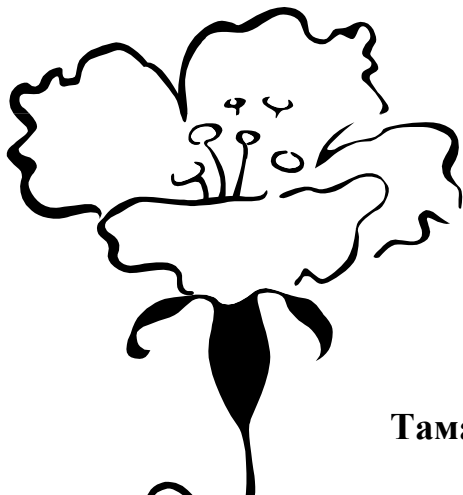
Поводом на написание этой статьи стал мой приобретенный опыт редактора журнала “Ухта литературная”, уже существующего шесть лет и в активе которого 25 номеров, находящихся в Публичных библиотеках Сыктывкара и других городов Республики.

~~~~~

## ПЕРСОНАЛИИ

**НОВИКОВА ТАМАРА МУРАТОВНА.** Член Союза журналистов России. Родилась 22 февраля 1952 года в г.Сосногорске. Училась в Архангельске и Москве. Имеет профессию театрального режиссера. Долго работала по специальности. В настоящее время трудится журналистом в городской газете “Ухта”. Печаталась с рассказами в республиканских изданиях, в сборнике “Диалог под звездами”, в журнале “Ухта литературная” № 12. В Ухте с 1979 года.





## **СОДЕРЖАНИЕ**

**Тамара НОВИКОВА**

**РАССКАЗЫ**

|                 | стр. |
|-----------------|------|
| Синий лебедь    | 1    |
| Кусака          | 6    |
| Камень-ожидание | 14   |
| “Отцы наши”     | 19   |
| Росинка         | 27   |
| Мотылек         | 29   |

**Алексей МИЛЬКОВ**

ПИСАТЕЛИ ХОТЯТ ЗАНЯТЬ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО  
(статья)

31 стр.

**ПЕРСОНАЛИИ**

33 стр.

---

### **Литературно-критический журнал “Ухта литературная”**

**Редакционная коллегия:**

|                  |      |         |
|------------------|------|---------|
| Алексей Мильков  | тел. | 6-17-34 |
| Игорь Терновский |      | 6-12-46 |
| Валерий Жуков    |      | 4-52-95 |
| Тамара Новикова  |      | 5-17-70 |



Номер журнала издан при содействии  
Фирмы “Интерактив”  
Директор Аннушкин С.Л.